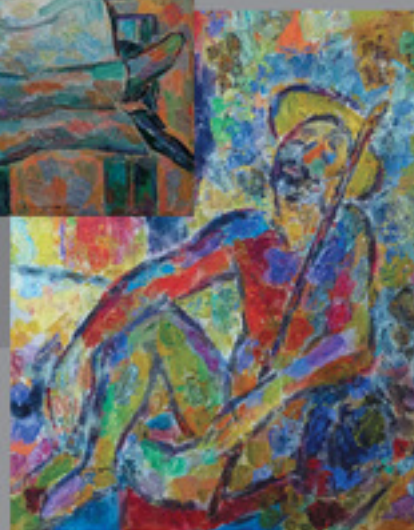


Дина Рубина

ОКНА



Живопись Бориса Карафёлова



Дина Рубина
Окна (сборник)

«ЭКСМО»

2012

Рубина Д. И.

Окна (сборник) / Д. И. Рубина — «Эксмо», 2012

ISBN 978-5-699-55397-6

«Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной ночной дороги домой; я думаю – бесстрашие воли и смирение перед безнадежностью человеческого пути. Что увидала я – ребенок – в том неохватном, том сверкающем окне вселенной, о чем догадалась навек? Что человек одинок? Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту? Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры...?» Дина Рубина Представляем вашему вниманию новую книгу с девятью новыми рассказами Дины Рубиной. Это художественное издание привлечет ценителей как современной прозы, так и современной живописи.

ISBN 978-5-699-55397-6

© Рубина Д. И., 2012

© Эксмо, 2012

Содержание

От автора	8
Дорога домой	13
Бабка	17
Снег в Венеции	41
1	42
2	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Дина Ильинична Рубина Окна



Живопись Бориса Карафёлова





В горах Галилеи. 2005

От автора

Мы перевозили картины Бориса в его новую мастерскую – ту, что отстроили на втором этаже, вырастив комнату из балкона. Пространство получилось небольшим, но из-за двух высоких окон – в стене и в потолке – удивительно радостным и *вкусным* для глаз: прямо-таки перенасыщенным взбитыми сливками густого света.

Вертикальное окно вверху, журавлем взмывая к гребню крыши, отбрасывало на пол косой прямоугольник солнца. И в этом лучезарном окне, посреди белой комнаты, стоял мольберт.

Борис внес первую связку холстов, ослабил узел на веревке, и одна картина стала медленно выпадать углом. Я ее подхватила и поставила на мольберт.

Это был портрет нашей дочери, сидящей на широком подоконнике в чудесном доме в Галилее, где когда-то мы любили отдыхать.

И тут, в пустой комнате, в молочно-белом облаке верхнего света, он вновь со мной «заговорил» с мольберта. Я сказала:

– Ева на окне, под окном, среди окон.

Мой муж, распутывая узлы, оглянулся на портрет и сказал:

– Да у меня чуть не в каждой картине – окно...

И мы продолжали вносить в дом и втаскивать на второй этаж связки картин, привезенных из старой мастерской, – утомительное, но и радостное занятие, как всегда, когда затеваешь и воплощаешь что-то новое: новую комнату, новую картину или новую книгу.

И пока Борис развязывал и расставлял вдоль стен и на стеллажах работы, я смотрела на них новыми удивленными глазами: а ведь и правда – сколько их у него, этих картин, где в разных окнах сидят, стоят, выглядят или проходят мимо разные люди. Да и сами картины были окнами, откуда глядели в мир множество персонажей, в том числе и сам художник, и мы, его домашние.

Длинная анфилада оконных отражений...

Я сказала, ни с того ни с сего:

– А у нас во дворе, в Ташкенте, первый телевизор появился у дяди Саркиса. Вечерами соседи набивались к нему на торжественные сеансы, усаживались кто куда, и все глядели в крошечный экран. Линза была толстой, изображение кошмарным... Но лица зрителей сияли уважительным восхищением: ведь это чудо – в ящике, прямо в комнате, непонятно откуда возникает «настоящее кино»... Дядя Саркис отхлебывал из пиалы чай и произносил: «А-акно в мир!» – с таким достоинством, будто лично изобрел телевидение. А нам, детям, позволялось смотреть с улицы. Мы взбирались на подоконник открытого окна, сидели друг у друга на коленях, на закорках... и с этого окна смотрели внутрь комнаты, в другое окно – подслеповатое окошко экрана. В этом что-то есть, а?

Часа полтора еще мы до изнеможения носили и расставляли картины, а я теперь уже намеренно выискивала в них все новые и новые окна. Постепенно меня охватывало знакомое волнение, еще неявное – то, что всегда предшествует *идее*...

Когда все было закончено, мы спустились вниз, заварили чаек и, как два грузчика на обеденном перерыве, некоторое время энергично молча жевали бутерброды, с удовлетворением поглядывая в сторону лестницы на второй этаж.

Вдруг Борис заметил:

– Между прочим, знаешь ли ты, что еще совсем недавно, в XVIII веке, жители Корнуолла промышляли таким вот способом: в особо сильный шторм выносили на берег большие фонари и расставляли рядами там, где громоздились самые страшные скалы.

– Зачем?

– Ну, как же... Несчастные моряки принимали свет фонарей за окна домов и в надежде найти гавань направляли корабли к этим обманкам...

– И разбивались на скалах?! – воскликнула я.

– Само собой. А когда шторм стихал, на берег выносило много полезных предметов. Вообще, в образе окна, – продолжал он задумчиво, – есть что-то трагическое. Вспомни, в литературе оно почти всегда связано с ожиданием, и часто – бесплодным. Ведь окно – это... нечто большее, чем привычное отверстие для света и воздуха или для бега нашего зрения вдаль... А в нашем ремесле окно – вообще большое подспорье. Мне, например, с моим вечным ощущением чужеватости и прохожести, образ окна в работе очень помогает. Делает меня... свободнее, что ли... Окно как примета укрытия, опознавательный знак. Не конкретное окно, а такая вот рама, из которой и в которую направлен взгляд. Хоть какой-то ориентир для человека, *проходящего мимо*...

Прошло несколько дней, и – видимо, чем-то меня задел, растревожил этот разговор, – я все продолжала думать о нем, а внутреннее волнение продолжало свою животворящую суету. Все катилось в нужном направлении... А может быть, думала я, мы все до известной степени – *проходящие мимо*?

И стала вспоминать свои окна. Множество своих окон, среди которых, чего уж греха таить, встречались и такие вот окна-обманки, и на их свет плыли иные корабли и – разбивались, и за это мне отомстится в положенное время или уже отомстилось...

В сущности, думала я, тема окон в искусстве не нова, но, как говорится, всегда в продаже. Окно – самая поэтичная метафора нашего стремления в мир, соблазн овладения этим миром и в то же время – возможность побега из него. Однако это и символ невозможности выхода вовне, последний свет, куда – с подушки – обращены глаза умирающего, не говоря уже о том, что для узника окно – недостижимый мираж свободы, невыносимая мука...

А наша память! Сколько в ней запретных судьбинных окон, к которым и на цыпочках боишься подобраться, не то что занавеску отдернуть да, не дай бог, увидеть сцену расставания тридцатилетней давности или того хуже – человека, лицо которого тщетно надеешься забыть... А у меня вообще: ни одной двери, только окна. И половина заколочена. Кто бы ни просил – не открою. Не хочу выпускать на свет божий то, что давно похоронено.

Зато остальные окна – всегда распахнуты. Я то влечу в них, то вылечу. И уж в этих окнах всё: мои мечты, мои страхи, моя семья, мои книги; все мои герои – уже рожденные и те, кому только предстоит родиться. Даже не знаю, где я провожу больше времени: размышляя за компьютером или мечтая в каком-то своем окошке...

* * *

Многие люди моей жизни связаны у меня с тем или иным окном. Знакомые иностранцы часто вспоминаются за окном кафе, куда я приходила к ним на встречу. Отец – у окна мастерской, всегда завешенного темной драпировкой, для дозирования яркого дневного света. Помню огромные бледные окна изостудии во дворце пионеров на Миусской, где впервые увидела Бориса и его многослойные многоцветные странные холсты. В тот вечер он показывал картины из серии «Иерусалимка», смешно рассказывая про свой дом во дворе старой Винницы – полуразваленный домишко, выросший в землю по самое окно, через которое можно было запросто шагнуть в комнату, не слишком высоко подняв ногу...

С тех пор прошло сто лет, и многие наши общие окна перекочевали в картины: окна квартир, ресторанов, отелей; стрельчатые окошки французских и немецких замков; двойные, разделенные колонной красноватого мрамора, аркады флорентийских палаццо; синие – про-

тив сглаза – ставни окон на улочках древнего Цфата; мавританские полосатые арки над окнами средневековой Кордовы и узкие, истекающие струйкой света бойницы башни Хиральда в Севилье: поднимаешься в ней, и сквозь невероятную толщину стен видишь фрагменты белого города в черных проемах...

А еще – зарешеченные окна Армянского квартала в Иерусалиме; огромные и глубокие окна-сцены Амстердама и закрытые ставнями, таинственно непроницаемые окна-тайны Венеции.

Не говоря уже о распахнутых в нашу память окнах Москвы, Винницы, Ташкента...

Некоторые, с приметами местной жизни или одушевленные чьим-то лицом, фигурой, домашним животным, вспоминаются время от времени пронзительно ясно, с какой-то неуместной и необъяснимой грустью – как то окно в одном из домов Амстердама, где старуха в инвалидном кресле, перегнувшись через подоконник, крошила булку на тротуар, а внизу с восхитительным непринужденным достоинством разливала цапля.

Или то высокое окно кондитерской в Дельфте, где между двумя синими вазами, среди белых орхидей на подоконнике сидела кошка-альбинос, тишайшая, ласковая; приподнималась и деликатно трогала лапкой стекло, словно внимания просила: а вот что сейчас скажу. Ну, скажи, ангел мой, скажи...

Или – отраженные в воде окна плавучего ресторана на озере Орта: как они сверкали и текли под фонарями, вновь и вновь разбиваемые вдребезги мелкой волной...

А витражи – эти чудесные картины в стрельчатых окнах церквей и соборов, картины-сказки, картины-утешения, будто для человеческого глаза недостаточно божественного света сквозь прозрачное стекло! И – как антипод этому ликованию многоцветья – черные проемы не застекленных окон арабских деревень, годами отпугивающие тех, кто смотрит на них с дороги.

А окна, нарисованные на стенах, – окна-иллюзии, с горшочками герани, с женским профилем, выглядывающим из-за шторы, – имитация интерьера, плоская подделка жизни...

А прожорливо ненасытные окна поездов дальнего следования, окна-Гаргантюа, глотающие на страшной скорости неохватные пространства...

И наконец, одна из самых величественных и страшных картин, какие могут только приниться: гигантский, космических размеров кратер медного карьера в штате Юта! Мы стояли наверху, на специальной площадке для туристов, а внизу по неохватным багровым адовым кругам едва заметными муравьями, сползая все ниже и ниже, будто выгрызая окно в самой груди земли (вот-вот хлынет оттуда сокрушительным потоком небесная синь с той стороны планеты!) – ползли многотонные самосвалы за новой порцией медной руды...

...Так наполнялся ручей замысла этой книги; весной в Иудейской пустыне так набухает влагой почва, и за одну ночь – неизвестно, как и откуда, – земля выплескивает брызги алеющих маков.

В один из этих дней друзья пригласили меня на концерт в Иерусалиме, – последний концерт ежегодного филармонического абонемента. В программе – Брамс, Брукнер, Дебюсси.

– Вот только места дешевые, – смущенно сказал наш друг. – Знаете, на втором ярусе, те, что прямо над сценой...

Но это-то как раз и оказалось самым прекрасным: впервые в жизни я видела перед собой лицо дирижера, профили оркестрантов, пюпитры с раскрытыми нотами; буквально сидела в музыке по самую макушку...

Подо мной плавно покачивалась библейская волна вишневой арфы на полном плече роскошной арфистки. Один из контрабасистов, похожий на персонажа с гравюры Домье, скло-

нялся к инструменту так предупредительно и даже угодливо, словно прислуживал ему за столом: чего изволите? Другой, щипая струну, мерно качал головой в такт движению руки – как мул, что поднимается по крутой тропинке в гору.

А дирижер... тот дирижировал ртом: округлял губы на *крещендо*, издавал беззвучный вопль на *фортиссимо*, растягивал их в мучительной гримасе блаженства на *диминуэндо*, захлопывал рот на резком коротком аккорде...

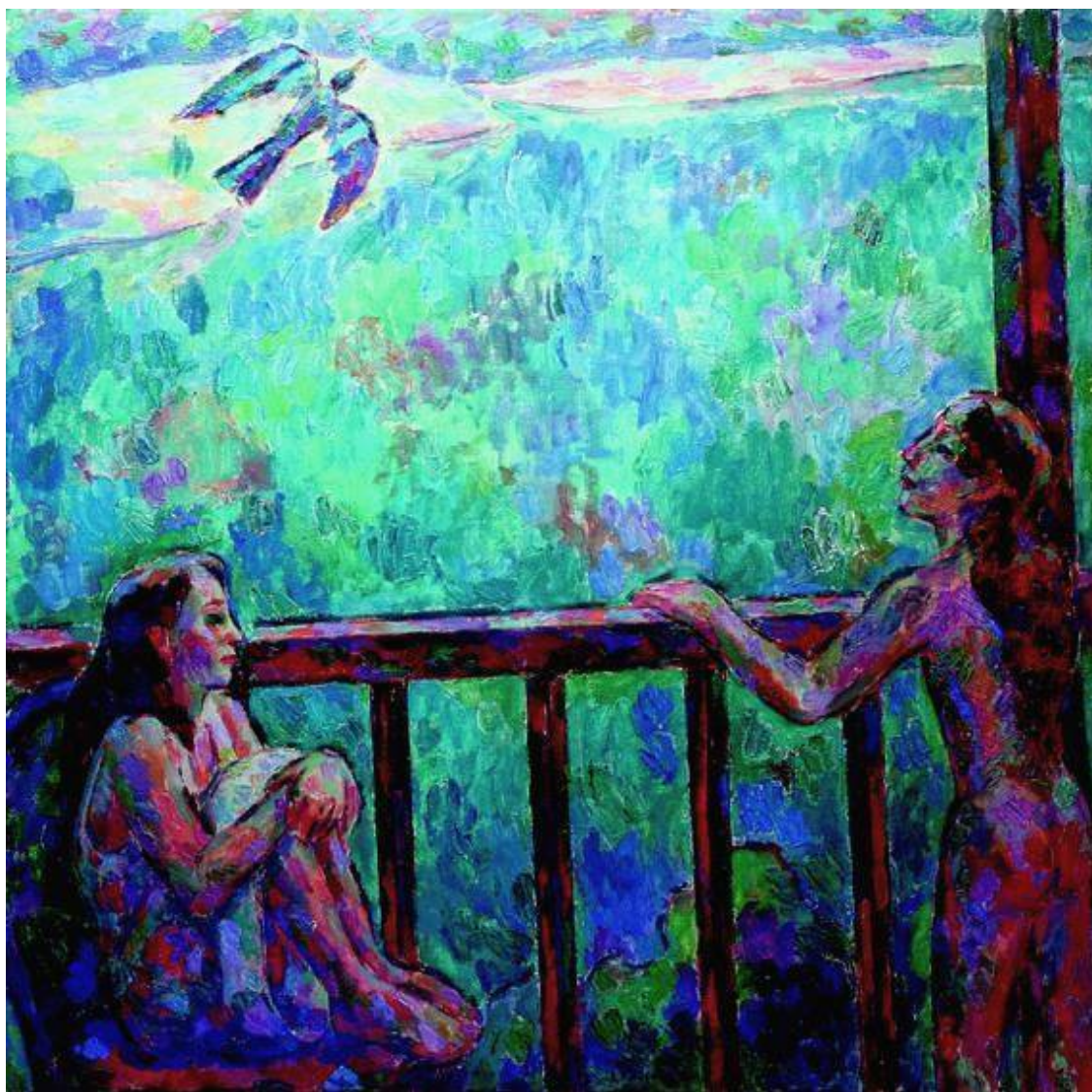
И при этом пружинисто приплясывал на подиуме, как царь Давид перед Господом, отпихивая локтями кого-то невидимого, кто так и норовил подобраться с изощренно злодейскими, захватническими намерениями...

Я парила над сценой и чуть не расплавилась от счастья – потому что внизу, на пюпитрах, двойными окошками в мою прошлую жизнь белели раскрытые листы оркестровых партий, полные грациным граем нот...

Вот тогда она и явилась – в терциях мучительного пассажа, в образе птичьих переливов флейты – идея этой книги об окнах, *об окнах вообще* – тех, что прорублены для света и воздуха, но и для взгляда, бегущего вдаль; об окнах, сыгравших важную роль в чьих-то судьбах; и об окнах, которые нельзя не упомянуть *просто так*, для полного антуража истории...

Словом, пока звучала кода брукнеровской симфонии, я уже знала, что буду писать свою новую книгу, не экономя на внимании вечно занятого читателя, забыв о нем, о читателе, вообще, отпустив вожжи, расправив лицо и душу, неторопливо листая, и вспоминая, и вышибая разбухший штырек из разохшейся рамы, распахивая давно забитые ставни...

Чтоб в этой книге были и картины Бориса, их окна-ориентиры, окна-укрытия *в высокой башне памяти*: все эти затененные стекла, эти дребезги, блики-отражения в мозаике многослойных мазков. Наши лица *прохожих людей* в темном окне московского метро или питерского трамвая; и сквозь них – тусклые солнца ночных фонарей, торопливые прохожие, мокрое белье на веревках, блеск листьев после дождя.



Птица над озером. 2008

Дорога домой

Лет в восемь или девять я сбежала из пионерского лагеря, первого и последнего в моей жизни. Подробностей не помню; кажется, он был обкомовским, этот лагерь, и находился в предгорьях Чимгана, километрах в двадцати от города, где-то в районе Газалкента.

Меня туда пристроила по благу мамина подруга, и, усаживая меня в автобус, мама оживленно твердила, что на завтрак там дают икру и сервелат – это было основным доводом в пользу моего удаления из дома. Я же не понимала, кому и чем так помешала моя вольная беготня по окрестным улицам и дворам, чтобы запихивать меня в автобус с целой оравой горластых обормотов и так далеко увозить: растерянность кошки, выглядывающей из неплотно застегнутой сумки.

И недоумение: что мне этот сервелат? А скользкая соленая икра, медленно и жутко шевелящаяся, тогда просто внушала отвращение.

В лагере помню только утренние пионерские линейки и резь в глазах от хлорки, густо посыпаемой в чудовищном казарменном туалете с дырками в полу. Сейчас пытаюсь припомнить какие-нибудь издевательства или серьезную обиду, из чего бы состряпать убедительный эпизод, оправдывающий мой дикий поступок... Нет. Ничуть не бывало! Человеку, для которого главное несчастье – место в пионерском строю и общая спальня, незачем придумывать иные ужасы. Видимо, я просто не была создана для счастливого детства под звуки горна. Впрочем, я всегда игнорировала счастье.

Сбежала я на четвертый день, дождавшись отбоя. В темноте не удалось нащупать под кроватью сандалии, поэтому, бесшумно выбравшись через открытое окно на веранду, я отправилась восвояси босиком. Это было не страшно: кожа на ступнях за лето становилась задубело-нечувствительной.

Пролезши через дырку в заборе и по остановке автобуса вычислив направление на Ташкент, я побежала по еще теплой от дневного жара асфальтовой дороге, сначала бодро и возбужденно (мне все чудилась погоня, так что, заслышав стрекот далекой машины, я сбежала с дороги и пряталась в кустах, а если их поблизости не было, просто падала лицом и животом в высокую придорожную траву, сильно пахнущую шалфеем и полынью), потом шла все медленней, затем, под утро, уже устало плелась...

Я шла, чувствуя направление внутренним вектором, как та же кошка, завезенная черт знает в какую даль...

Чем глубже в топкую вязкую ночь погружалось окрестное предгорье, тем выше и прозрачнее становилось небо над головой. Великолепная россыпь ярко мигающих тревожных звезд – игольчатый иней на гигантском стекле – пульсировала в невыразимой, несказанной вышине. Там шла бесконечная деятельная жизнь: неподвижными белыми прожекторами жарили крупные звезды; медленно ворочались, перемещаясь, маяки поменьше; суетливо мигали и вспыхивали бисерные пригоршни мелких огней, среди которых носились облачка жемчужной звездной пыли. Все жило, все плыло и шевелилось, боролось, заикалось, требовало, вздымалось и опадало в той ужасающей, седой от звезд, бездне вверху... Там шла какая-то непрерывная контрольная по геометрии: выстраивались фигуры – окружности, углы и трапеции, а прямо в центре неба образовался квадрат – окно, довольно четко обозначенное алмазным пунктиром, и сколько бы я ни шла, то убыстряя, то замедляя шаг, это окно плыло и плыло надо мной, и мне казалось, что внутри своих границ оно содержит звезды более яркие, более устрашающие и одушевленные, и что наверняка где-то там, в другой вселенной, тоже идет по дороге одинокая и упрямая девочка, и над ней тоже плывет призывное это окно... Я придумала себе, что там

вот-вот что-то произойдет, мне что-то покажут в этом космическом окне, поэтому то и дело останавливалась, задирала голову и пристально следила за знаками, каждый раз обнаруживая удивительные события: новые вспышки завихрений, новые сообщества беспокойно мигающих звезд... Иногда я принималась энергично махать руками, подавая знаки той, другой девочке: а вдруг у них такая развитая цивилизация, что она меня видит в какой-нибудь космический телескоп?



Зимнее море. 2009

Раза два-три за всю ночь темная дорога вливалась в какие-то населенные пункты, скудно освещенные десятком глухих фонарей. Каплями густого меда вдали теплились окна кишлаков, тянуло горчайшим дымом горящего кизяка, и разной высоты голосами перебрехивались псы, отвечая на дрожащий крик осла...

Я шла всю ночь; на рассвете добрела до трамвайного круга на окраине города, дождалась первого пустого трамвая и бесплатно (кондукторша очень испугалась, увидев меня) доехала до дома.

Впоследствии никто из знакомых, и родители тоже, не верили, что я прошла весь этот путь ногами.

– Тебя подвезли? – допрашивали меня. – На машине? На повозке? На велосипеде? Ведь ты не могла проделать босиком весь этот путь, одна, да еще ночью...

Именно одной и ночью, молча возражала я, только одной и ночью можно было проделать этот долгий одинокий путь среди бушующих запахов предгорья, под бесконечным и бесчисленным воинством планет, комет и астероидов, что так страшно и глубоко дышали и сражались в небесном окне над моей головой...

Эта дорога домой под лохматым от звезд горным небом, запахи чабреца, лаванды и горчащий дым кизяка от кишлаков, дрожащий, страдающий крик осла на рассвете – все это, при желании возбуждаемое в моей памяти и носовых пазухах в одно мгновение, останется со мною до последнего часа.

Именно в ту ночь я стала взрослой – так мне кажется сейчас. Мне кажется, в ту ночь возвращения домой под невыразимо ужасным и невыразимо величественным небом я поняла несколько важных вещей.

Что человек одинок.

Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту.

Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры...

Отчетливо помню лицо отца, который открыл мне дверь часов в шесть утра. За ним с воплем выбежала мама в ночной рубашке: не ждали...

Почему-то меня не отлупили. Выяснять сейчас у мамы причины этого считаю бестактным, да она и сама вряд ли помнит. Но подозреваю, что отец мне втайне сочувствовал: он и сам господин не из компанейских. Мама же причитала, ужасалась, сокрушалась. Дело, конечно, не в сервелате, и не в «горном воздухе для здоровья», а просто – это ж уму непостижимо: да любому бы ребенку... да другой мечтал бы о таком счастье... и вообще, полюбуйте на это чудо – разве это нормальная девочка?

Я молча прошла в узкую, как пенал, «детскую», где спали мы с сестрой, и легла на свой диван с одним валиком в головах; другой я давно отбрыкнула удлинившимися за год ногами.

Мимо меня плыли темные поля с рассветными огоньками далеких окон, на пепельном небе замирали и гасли звезды, асфальт под босыми ногами давно остыл. Я шла и шла, и была главной осью вселенной, крошечным колышком, вокруг которого вращались бездонные, беспросветные, раз и навсегда неизменные миры...

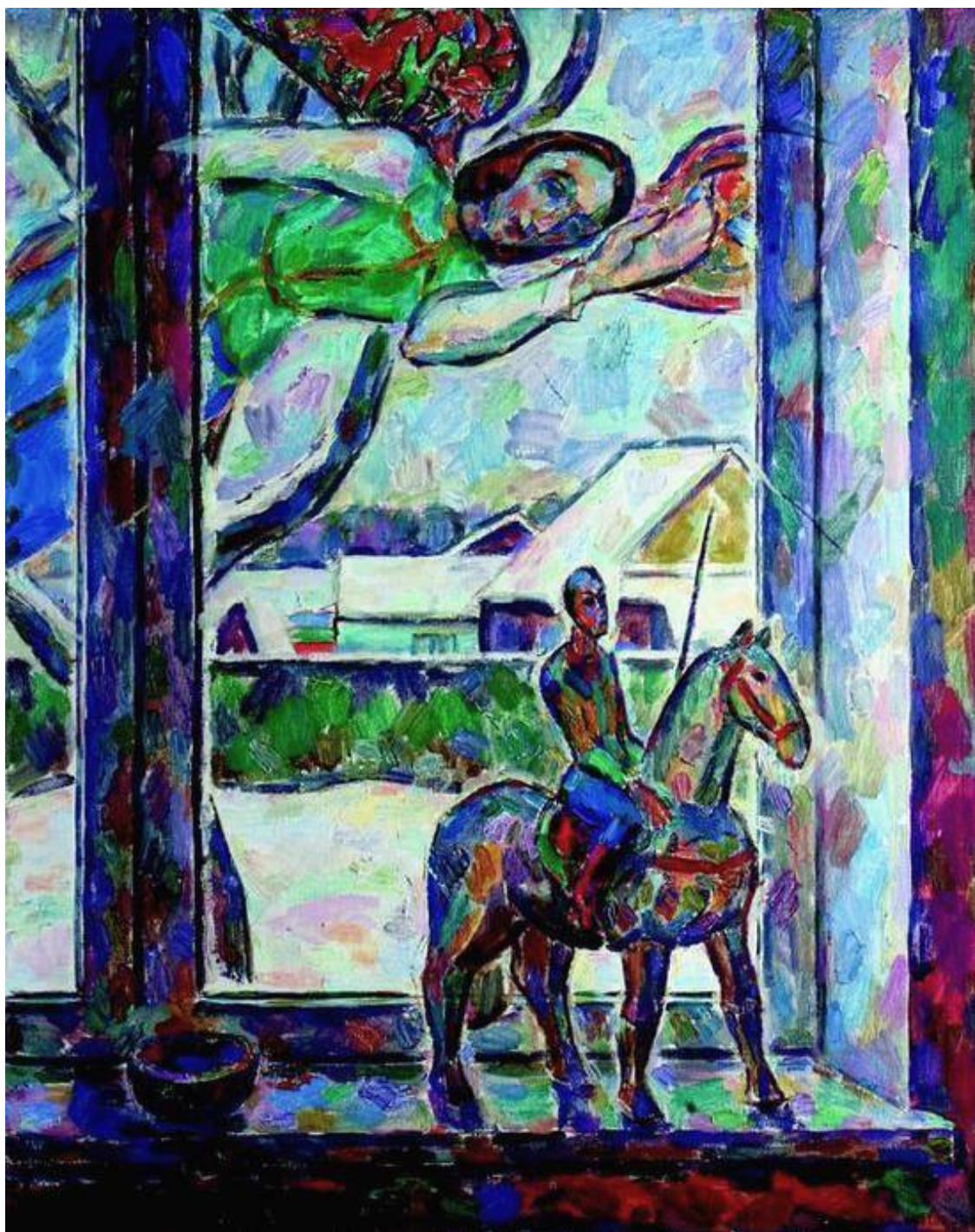
Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной ночной дороги домой; я думаю – бесстрашие воли и смирение перед безнадежностью человеческого пути. Что увидела я – ребенок – в том неохватном, том сверкающем окне вселенной, о чем догадалась навек?

Что человек одинок?

Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту?

Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры?

Иерусалим, июнь 2011



Ангел в окне. 2010

Бабка

Она звала меня «мамэлэ» и...

Вновь и вновь ворошу память: что бы еще дополнило благостный образ еврейской бабушки? Боюсь, что ничего. Вот уж благодати в моем роду днем с огнем не сыскать; в бабке – тем более.

Правда, на давней сохранившейся карточке выражение лица у нее не то что умиленное или смиренное, скорее... постное. Разве что очи не возведены к небесам. Полагаю, придуривалась.

Снята она восемнадцати лет – длинные косы вдоль длинного платья – на фоне каких-то живописных развалин. Нога в узкой туфельке с медной пряжкой попирает обломок скалы, за спиной – витые колонны, мавританские арки, забранное плющом окошко венецианского замка... Фотограф местечка Золотоноша питал возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам.

Дочери Пинхуса Когановского сняты им на карточки в один летний день начала прошлого века (все пять в легких платьях); и ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных, чрезвычайно изысканных позах. Моя юная бабка извернулась совсем уж неестественным образом: локоть уперт в приподнятое колено, подбородок в ладонь – очень романтично.

Но что поражает меня до сих пор на той устричного цвета картонке – ее нервные руки (узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная форма ногтей), руки, однажды узнанные мною в портрете Чечилии Галлерани, знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, когда я прогуливалась по музею князей Чарторыжских в Кракове.

Между прочим, в семье невнятно поминали некоего художника, что в юности «снял с нее портрет». (О, эти художники! Всюду, куда ни кинь, – художники в историях моей семьи. Думаю, и на том свете я обречена позировать какому-нибудь тамошнему мазиле.)

Так вот, некий молодой художник был якобы в нее, в мою бабку Рахиль, *влюблен смертельно*. Туманный шлейф незадачливой юношеской любви рассеивается в отсутствии деталей. Художник куда-то делся. «А портрет? где же портрет?» – задаю я маме идиотский вопрос и, спохватившись, умолкаю. Какой там портрет...

Из пяти сестер Когановских Рахиль была самой артистичной. Во-первых, она пела. Во-вторых...

Нет, надо бы не так.

Не удается мне отринуть вечную иронию к собственной родне и сосредоточиться на образе! А образ того стоит: высокая, гибкая, с алебастровой кожей, глаза зеленые, смешливые – бабка всегда привлекала к себе внимание. «На нее оборачивались, – вспоминает мама. – Когда мы появлялись на пляже, головы всех мужчин сворачивало в ее сторону, как флюгера под ветром».

В детстве к этому свидетельству я относилась недоверчиво: разве тогда были пляжи? Где – в местечке Золотоноша? Были-были, отвечают фотографии, письма, а также мерцающие кадры старых кинолент. В фильмах времен бабкиной молодости все купальщицы, известно, выглядят уморительно. Я представляла свою бабку в полосатом купальном трико эпохи Чарли Чаплина, приседающей на берегу в энергичной физзарядке – и дико хохотала.

Словом, бабка была неотразима. Во-первых, она пела. Да: пела в застолье. И не просто пела. Она «спивала украиньски песни божественным голосом». Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральто заливистые кренделя. Вот это мамино «спивала» в моем детском воображении воплотилось в фольклорную картину: молодая

бабка, в украинском кокошнике с лентами, упоенно закинув голову, так что горло трепещет, как у нашей желтенькой канарейки, – *спивает, впивает, пьет* нежные переливчатые песни над праздничным столом: «Ничь яка мисячна, зоряна, ясна... Выдно, хочь голкы збырай...»

Ну, и так далее.

И все же не песня была ее коронным номером. Когда наполовину опустошались бутылки и штофы с наливками и свет люстры отражался в потных лысинах и лбах, когда уже пламенели разгоряченные уши, и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды, кто-нибудь из гостей обязательно просил:

– Рухэлэ... представь!

В ответ она сооружала изумленно оторопелое лицо.

– Представь, представь! – неслоь со всех концов стола. – Хватит придуливаться!

Она разводила руками, пожимала плечами, с недоумением оглядывалась, будто не к ней зывали, а к кому-то за ее спиной.

– Представь!!! – вопили гости.

– Та я шо ж... – начинала мямлить она. – Шо ж... разве ж я...

Далее – из растерянных ухмылок, заикания, бесконечного повторения одних и тех же дурацких фраз – возникал монолог какой-нибудь отсутствующей, не называемой ею соседки, чье имя выкрикивалось дружным хором гостей на второй минуте представления, настолько убийственно точно – интонационно, характерно, тембром голоса и ужимками – передавала бабка образ человека. Язык и текст «номера» соответствовал персонажу. И скороговоркой на «суржике» представала перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Федько, торгующая на рынке дюжину яиц: «Та то ж у вас разве яйца?! Не будет вам от меня комплименту на ваши яйца!» Или Голда Рафаиловна, отставшая от поезда на пересадке в Меджибоже; аптекарша Голда Рафаиловна Ганц, которая в тщетной попытке уберечь пять чемоданов от шныряющей вокруг шпаны перетаскивает свою отключенную задницу с одного на другой, проклиная на идише собственных детей и внуков – мол, те дали ей неправильную телеграмму.

И долго рокотал над столами, повизгивал и кудрявился восторженный смех гостей...

* * *

Я таких застолий не помню. Это были уже другие времена и другие земли: не благодатная довоенная Украина, а знойное столпотворение саманного Ташкента, куда – через Кавказ и Казахстан – моих родных занесло эвакуацией в начале войны и где они застряли навсегда. Но то, как моя бабка Рахиль «представляла» – отлично помню с младенчества. Никаких сказок, никаких стишков из детских книжек – ничего такого, чем обычно пичкают ребенка, заставляя «съесть еще ложечку».

Одни лишь истории сегодняшнего утра.

– Отойди, – говорила она маме, пытавшейся впихнуть хоть немного еды в мой намертво захлопнутый рот. Вытирала руки о фартук и усаживалась на стул, полубоком ко мне, вполоборота к маме. Она и обращалась-то к маме, не ко мне, так что я, с опостылевшей кашей во рту, оставалась брошенной на произвол судьбы безо всякого внимания заинтересованной публики. Меня разом исключали из сюжета, переводя в ранг стороннего слушателя.

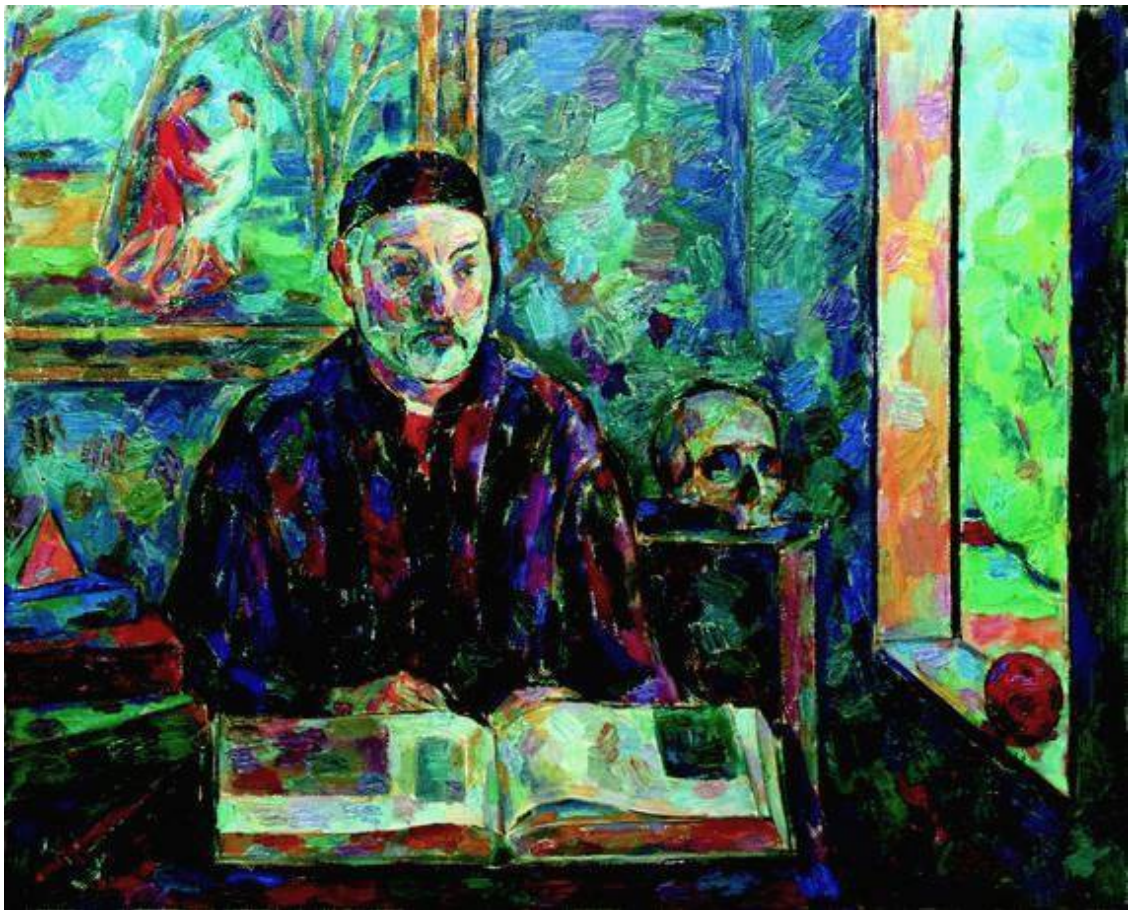
– Еду сегодня на Алайский... – начинала бабка неспешно, сосредоточенно размешивая ложкой кашу в моей тарелке, как бы взбивая небольшую волну и сразу ее успокаивая. – Я еще со вчера задумала *гефилтэ шуку*, а шуку, ты ж понимаешь, брать надо с утра, пока в ней глаз не замутился... Ну, в трамвае битком, не продохнуть, но меня-таки усадил какой-то студент. Студенты – вежливые, Рива, ты заметила? Один мне как-то сказал «мадам», может, он уже был профессор?

Никогда не удавалось уловить тот миг, когда ее обыденная речь плавно переходила в говорок рассказчицы. Возможно, она и сама его не замечала.

– Сижу ото так у окна, рядом дама в фасонистой шляпке... Влезают на Первомайской старик и мальчик, небольшой такой паренек, ну, лет, как прикинуть, восемь... Их тоже усадили – против меня; сумку свою старик поставил на пол промеж ног, едем... Вдруг смотрю: сумка-то шевелится! – Ее рука молниеносно зачерпывала ложкой кашу и зависала в воздухе. – И там, в щели... ой, готеню! Ушки-то... ушки такие серые – чик-чик! чик-чик!.. – Полная ложка следовала прямоком в мой открытый рот. – Жуй, жуй как следует, мамэлэ, такую кашу не каждому ребенку варят... А ну, думаю, шо ж там такое?.. Какой такой зверек?.. Прикрути огонь под супом, Рива... А ты давай, глотай, сидит, щеки надула...

– В сумке... – мычу я, глотая комкастую массу во рту, – кто?

– Кто... я вот и спрашиваю дядьку вежливо: «Старичок уважаемый, а кто у вас в саквояже ушами шевелить?» Ох, как он осерчал! Сумку к себе придвинул, захлопнул, ногой под сиденье зашоркнул: «Не ваше дело, *эр зугт*, гражданка, чего суетесь в чужой саквояж!»



Размышления. 2010

Каким образом, при помощи каких неуловимых ужимок, гримас и жестов, понижения и повышения тембра голоса и полной его перемены она умела передать суетолюку, дребезжание, скрежет и перебранку пассажиров утреннего трамвая; какой выразительной мимикой воссоздавала образ сварливого старика с волосатыми ушами, какими жалостливыми интонациями умела вызвать сочувствие к притихшему пацану на деревянной лавке трамвая – это я бессильна передать. А вставные словечки на идише расцветчивали рассказ забавной и убедительной инкрустацией, и картина вставала перед глазами в неопровержимой подлинности: не

верить этой истории было просто невозможно. Я глотала кашу, ложку за ложкой, только бы не останавливалась бабка, только бы длился ее рассказ!

– Гляжу на мальчика – а он пла-а-ачет. И горько так молча плачет и, видно, боится старика. А соседка... женщина-то в фасонной шляпке, у нее там на полях лежат этак три вишенки, ну прямо живые, бери и ешь! – она тихо мне говорит: «Я думаю, милицию пора звать. Не знаю, *зи зугт*, что там у него в саквояже, а только *оно стонет!!!*» И кричит: «Вожжа-атый! Тормози транвай! Тормози транвай!» Ну... то, сё, скандал, вожатый тормозит, в вагон вбегают мильцанер. Так... последняя ложка... молодец, вот и каше конец.

– Дальше!!! – кричу я возмущенно.

– А что дальше... Мильцанер документы смотрит: все, мол, в порядке, все свободны, свидетелей отпускаю. Это просто, *эр зугт*, старичок с внучком везут на рынок кроля продавать.

– Нет, ну погоди! – возмущается мама. Она сидит на соседней табуретке, так же, как и я, напряженно слушая бабкин рассказ. – Что это за конец такой, ты что, смеешься! Только растравила ребенка. Как там на самом деле было?..

И умолкает, наткнувшись на бабкин насмешливый взгляд.

* * *

Для меня-то она всегда была старухой.

Ее растрескавшиеся руки помню как самые рабочие из всех, что встречала в жизни. Первое, что я видела и чувствовала, просыпаясь, – эти руки: тяжелые квадратные кисти, грубые пальцы. Она поднимала меня и на теплое со сна тело натягивала лифчик с болтающимися резинками, к которым цеплялись чулки. От прикосновений ее пальцев к материи возникал шорох. Если она нечаянно ужаливала ледяными заусеницами горячее тело с исподу ляжки, я взвизгивала:

– Ай, баба, колючки!

Эти руки, их жесткий холод по утрам (посуду она мыла в миске холодной водой – горячей не было), навеки слиты в памяти с жемчужным окном, с его шершавой, всегда чарующе новой картинкой: сказочные звери в чашобах морозного лесоповала. Значит, зимние каникулы, первый класс...

Моя память так уютно обжила эти недели, зимние и летние, прожитые на Кашгарке, в домике с единственным, но большим окном, лучезарным, как экран в стремительно меркнувшем зале кинотеатра. Весной и летом оно было полно сумрачной тополиной листвой, зимой же... Не любой зимой, но редкой холодной, какая выпадала на мое детство раза три, – заиндевшее окно-театр проявляло все свои летние видения застывшими на стекле: там по морозно-расписному заднику проносились сцены погони, сражений, свадеб и похорон, там медведи ворочали толстые бревна, там бабочки навеки замерли на кустах магнолий, там в густой сети окаменела белая рыбина...

А между хлипкими рамами окна бабка держала продукты – холодильников не было. По утрам она доставала очередной пакет или кулек, придирчиво нюхала, сомневаясь: выбросить или деду отдать... Она считала, что у деда железный желудок.

– Сэндер, – говорила она с заметным одобрением, – о, Сэндер имеет *Лизенер бух*!

Лизен – «железо» – было одним из ее любимых словечек. Тупую голову называла *Лизенер тухес*, «железной задницей», и часто повторяла, что на еврейские фамилии ушло много железа. И ведь правда: в моем классе учился мальчик Саша Лизен и девочка Лина Лизенберг, а фамилия нашего завуча вообще была устрашающей: Лизенблат – «железная кровь»! Вот среди чего я росла.

...В этих саманных лачугах, слепленных после войны на скорую руку, часто гасло электричество, и если такое случалось вечером, бабка *запаливала* свечу. Вид горящей свечи – первое и самое сильное впечатление от борьбы стихии с хладнокровно прожорливым временем. Лежа на топчане, где мы с бабушкой спали валетом (ее ледяные ноги упирались в мое горячее тело, изрядная часть ночи уходила на мои тщетные попытки отодвинуться), я следила за трепетом упрямого огня, не отводя глаз, внедряясь зрением в оранжевую сердцевину тонкого лезвия, и последнее, что видела с подушки, засыпая, – порхающий в черном окне огненный мотылек. Ни разу не удалось мне досмотреть эту битву, в которой всегда погибал огонь. Утром на месте свечи горбилась на блюде восковая лужа с обугленным фитилем в застывших парафиновых волнах. Это и были первые уроки творчества, первая его заповедь: мир твори огнем, лепи его из обжигающе горячей плоти – поздно менять, когда застынет.

А ведь все это было таким привычным: и холодная вода по утрам, и жужжащий примус на веранде, и лужа застывшего парафина, и кастрюля с прокисшим борщом за окном, и уборная во дворе...

Раз в неделю или чуть реже во двор протискивался грузовик с углем. Немедленно хлопала дверь в крайнем от ворот домике, на крыльцо выбегала Шарапат, третья дочка дяди Хамида, и пронзительно кричала: «Жопер Ванюшка! Жопер Ванюшка уголь приехала!» Это означало только одно: шофер Ванюшка привез угля.

Печка была веселая, серебристая, казалась круглое брюхо, утренний свет струился по ней ручьем, стекал по серебряному брюху сверху донизу, упираясь, как в запруду, в чугунную заслонку, похожую на черный тульский пряник – с выдавленным рогатым оленем. Угля жрала она этим брюхом немеряно.

Бабка вносила со двора ведро угля, высыпала его на жестяной поддон перед заслонкой (драгоценный антрацитовый блеск на острых гранях) и принималась разжигать огонь. Вот что меня завораживало: она укладывала в огонь куски угля голыми руками. Так же, как снимала с огня примуса кастрюлю с вареной картошкой, – просто поднимая ее за алюминиевые ушки.

– Ба, ты что! Больно же?

– Та не, – отзывалась, насмешливо щурясь. – Они ж у меня *деревьянные*...

Этими руками каждое утро она бинтовала деду культю ног. Длинные бинты змеились по струганным половицам. Сначала разворачивала их, как свиток, потом сворачивала в тугой рулон и затем бинтовала. Почему дед не вскрикивал от прикосновения бабушкиных рук – не знаю. Никогда не слышала, чтобы он звал ее как-то иначе, чем «Рухэлэ» – что на русский можно бы перевести как «Рахилька», если б этот перевод нес в себе хотя бы толику упругой и нежной силы, с какой он произносил ее имя. Дед был человеком вспыльчивым, но даже у меня, ребенка, хватало ума, вернее, чутья, понять, что все ссоры затевала она, бабка. Ее упрямство и желание всегда настоять на своем стало в семье легендарным. (Если и сегодня, спустя пятьдесят лет, я пытаюсь непременно доказать что-то своему отцу, не отступаясь и приводя все новые и новые аргументы, – я нередко заслуживаю его коронной отрывистой фразы: «Уп-пертая порода Когановских!»)

Но даже в самых громких скандалах, даже отбрасывая в бешенстве стул к стене, с пеной на губах дед кричал бабушке: «Рухэлэ!!!»

Ног он лишился уже в преклонном возрасте: ему *отрезало ноги трамваем*. В раннем детстве я была убеждена, что это одно слово, вернее, одно непрерывно воспроизводимое в воображении действие: некое гигантское, ужасное неумолимое *оно*, взмахнув, как кинжалом, трамваем с отточенными колесами, одним махом отрезает долговязые ловкие ноги моему удалому деду, бывшему коннику и танцору.

За что?

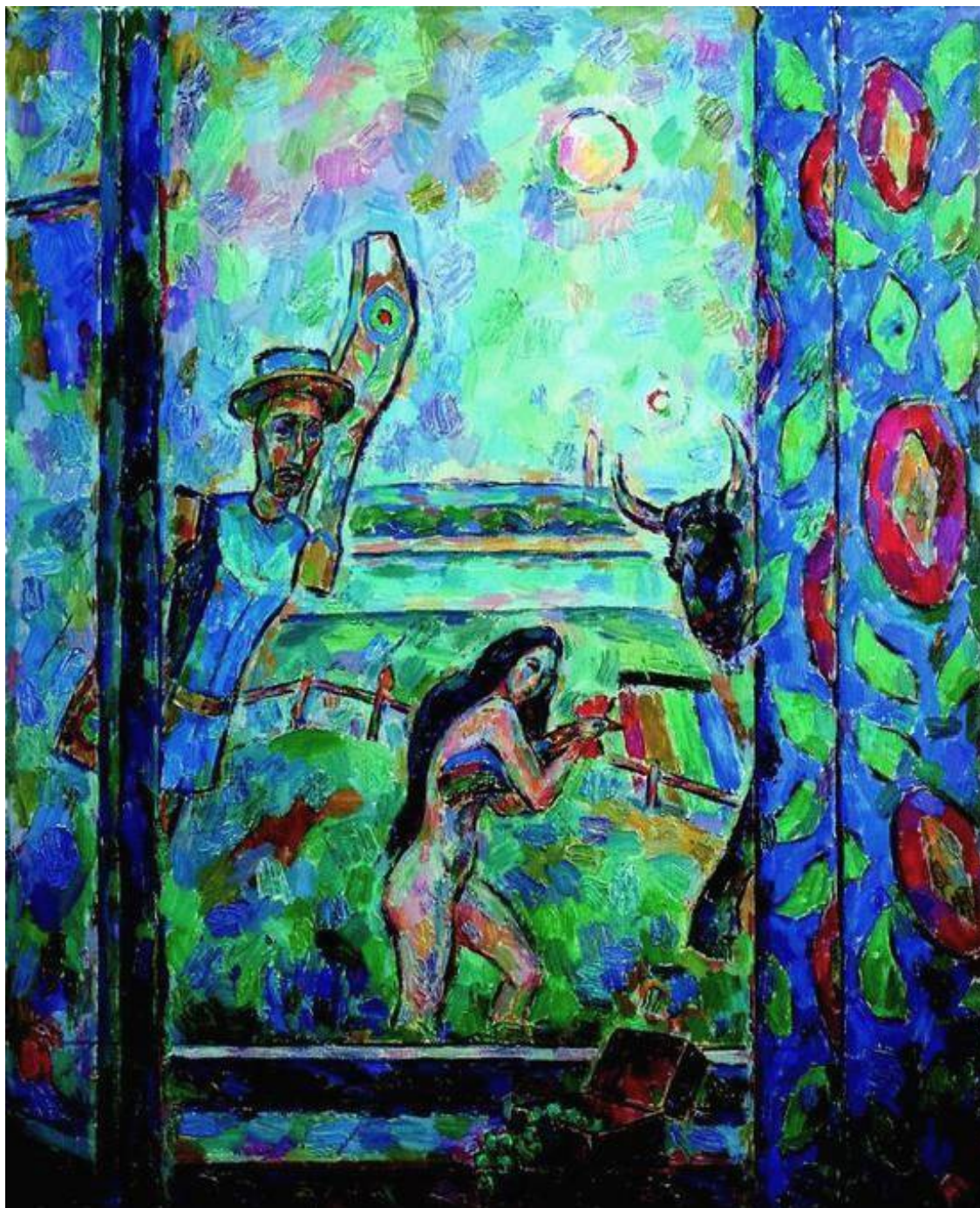
Странная глухота и слепота глазастого детства к домашнему окружению: я не помню этого события, хоть мне и было тогда уже лет пять – изрядная дылда. Зато помню всех городских сумасшедших, всех инвалидов в нашей округе, помню грохот подшипников деревянной «инвалидной» платформы по асфальту улицы или глинистому твердому накату двора. Помню божественный вкус нежно хрустящей на зубах ножки голубя, зажаренного пацанами в углях за помойкой; помню наглое покачивание цветастых юбок на молодых цыганках, увешанных монистами и младенцами. Подробно помню волшебное барахло с тележки «шара-бара», запряженной понурым осликом: старый узбек обменивал на бутылки глиняные свистульки и тугие, румяно раскрашенные шары, выдутые из аптечных сосок... Я помню страшное одутловатое лицо нашей больной соседки, которую я считала несчастной старухой, а она вдруг родила славного толстенького младенца. А вот трагедию родного деда вымело из моей пустой кудлатой башки. И даже те картины, что возникают перед моими глазами при упоминании этого случая – всего лишь то, что я вообразила и запомнила с маминых слов. Свидетелем несчастья, рассказывала мама, стал сослуживец моего дядьки, который видел, как дед пытался вспрыгнуть на подножку трамвая и, не удержав равновесия, упал навзничь на рельсы, когда трамвай уже тронулся. Сослуживец бросился в техникум, где мой дядя преподавал физику. В тот день была объявлена контрольная, и в классе стояла тишина, лишь мел дробно постукивал по доске, выписывая условия задачи.

Короче, дядя примчался в больницу как раз в тот момент, когда «Скорая» привезла деда Сэндера в приемный покой. Врач попросил дядю снять с пострадавшего сапоги; тот взялся за правый сапог деда, потянул... вместе с сапогом снялась нога. И – кавалер трех орденов Славы, капитан артиллерийских войск, чья батарея одной из первых вошла в Берлин, – мой дядя свалился на пол без сознания, в обнимку с отцовою ногой.

Когда случилась беда, друзья и сослуживцы (дед был виртуозным рубщиком мяса) собрали приличную сумму и явились к нему торжественной скорбной группой. Денег он не взял. Сказал: «Я ведь живой еще, я заработаю...» И точно: научившись ходить на протезах (ау, молодой и сильный лейтенант Мересьев, чей подвиг мы изучали в советской школе!), вернулся в мясную лавку на Алайском базаре и целый день стоял на тех протезах, разделявая туши. Множество раз я видела, как он работает, как взлетает топор над колодой, как хрястко вонзается страшное лезвие в сизое баранье и бурое говяжье мясо, вздымая зудящие облачка настырных мух... В моем гончем воображении возникало огромное безликое *оно*, и отточенные колеса трамвая хрястко прокатывались по ногам деда Сэндера, *конника* и танцора.

– Почему – конника? – спрашивала я маму в детстве.

– Потому что в Первую мировую дед воевал в кавалерии! Кавалерия – это кони, – отвечала мама, каждый раз возмущаясь моей забывчивостью. Мне же просто нравилось то, с каким гордым любованием произносила она слово «конник». – Твой дед был сумасшедшим лошадиником. К нему лошади, даже чужие, шли, как к мешку с овсом. Он и в Отечественную, хоть и пожилым человеком, устроился в конюшню при летном клубе – чтоб с лошадьми быть. Ну, а танцором дед был в молодости таким, что если он танцевал на столе, ни одна рюмка не то что не разбивалась, а даже не звякала! Он и бабуку-то *вытанцевал*. Плясал на спор целый час, глядя на нее, не отрываясь; ногами чувал – куда ступать...



Час петуха. 2011

Я тогда не понимала, что мой дед – герой. В свои шестьдесят, на двух протезах, только с палочкой, он забирал меня из детского сада и поднимался до нашей коммунальной квартиры на четвертом этаже: ребенок не должен идти один, не дай боже, кто притаился там, в закутке...

К своему положению дед относился житейски-просто. Однажды, вернувшись из поликлиники, растроганным голосом рассказывал про мальчика, что сидел напротив, в коридоре, в очереди к врачу. Как тот мальчик сказал звонким голосом: «Ма, смотри, какой дедушка счастливый: у него ноги ниже колен отрезало».

– У пацана-то культы обкорнали гораздо выше, – добавил дед, ребром ладоней как бы отсекая от своих коленей лишние куски профессиональным движением рубшика мяса.

* * *

А ведь этот домик в большом, полном ребятни ташкентском дворе на Кашгарке (самом вавилонском, самом многоязыком районе утрамбованного эвакуацией безразмерного города), этот саманный домик: комната и кухня, выходящие на большую веранду, увитую старой виноградной лозой, – принадлежал не бабке с дедом, а второй жене моего дяди. Причем женой *расписанной* она так и не стала. Но года три они прожили вместе, для чего и была совершена короткая рокировка: дед с бабкой переехали в ее домик на Кашгарке, а она – в такую же развалюху, мазанку, на улице Чимкентской, которую, вернувшись с войны, своими руками сложил-слепил для себя и родителей мой энергичный дядя.

Смутно помню узколицую блондинку – большая грудь в мохнатой кофточке, уютный вырез, в котором утопает блескучий кулон. Кажется, звали ее Лизой. Кажется, они были коллегами: оба работали в вечернем техникуме, дядя – завучем, она – преподавателем географии.

Ранний вдовец, обремененный трудным пятнадцатилетним сыном, он любил эту женщину, как понимаю я сейчас, сильно, нелепо и даже слегка безумно. А у нее тоже был мальчик, и тоже пятнадцати лет. И, в отличие от моего дикого двоюродного братца, тот был покладистым дружелюбным подростком. Именно он, помнится, пожалев мою тощую задницу, за каникулы отбитую до синяков принудительным катанием на братнином велосипеде, прикрутил к железному багажнику, где обычно я сидела, судорожно вцепившись в рубашку брата, учебник немецкого языка, предварительно обернув его своей футболкой.

– Так удобнее будет, – сказал, улыбнувшись. Его звали Алик... и это милое имя до сих пор произносится в моей памяти с беззвучной улыбкой, заодно вызывая безотчетную симпатию к любому одноименному прохвосту.

Мой вездесущий брат все лето гонял на велосипеде по городу, умудряясь за день досадить и отцу с Лизой, и бабке с дедом, и всем, кому попадался на пути. Бабка любила повторять, что этот *лэйдеегер* – «балбес, бездельник» – повсюду «ищет драку на сраку». *Эр зихт макес аф ин тухес!* – повторяла она в сердцах и была права. Он без усталости, самозабвенно искал приключений и, что самое интересное, находил. Чаще всего пострадавшим оказывался он сам, но при этом, даже размазывая кровавые сопли, почему-то выглядел удовлетворенным.

Мне не разрешалось выходить со двора, и это придавало ему азарта. Если что-то не позволено, надо этого добиться любым путем. Меня он выкрадывал.

– Поехали *черта смолить*, – предлагал вначале вполне приветливым тоном.

«Черта смолить» – это было еще одно бабкино выражение, и применительно к затеям моего братца, *этого лэйдеегера*, означало оно не просто «безделье», а совсем уж идиотское ветрогонство.

– Не, – миролюбиво отзывалась я, еще надеясь, что он отвлечется и отстанет.

Иногда так оно и случалось. Но чаще, встретив сопротивление, он загорался и напирал уже всерьез, с возрастающим воодушевлением.

– Только до пива прокатимся, – и хлопал пятерней по багажнику. – Туда и обратно!

– Не, – благоразумно и опасливо отвечала я, зная, что «до пива» (пиво качали из бочек, на углу Кашгарки и улицы Ленина) – это лишь предлог, а покатит он дальше, дальше – до Алайского, до Энгельса, до Первомайской, потом до ОДО, окружного Дома офицеров, а там и до Луначарского шоссе...

Вообще его идей и забав я побаивалась. В характере братца сочетались дикая энергия с полнейшей безответственностью и неожиданными всполохами веселой злости. Бабкино «черта смолить» точнейшим образом подходило к его характеру и устремлениям.

Сейчас понимаю, что у него были явные садистические наклонности. Мои страхи его забавляли, подстрекали, а вечная отключенность и равнодушие к дворовым играм приводили в сильнейшее раздражение.

– Тогда до парикмахерской и назад, – говорил он. – Пулей!

Я ненавидела безумные скачки на багажнике его велосипеда по ухабам и булыжникам, что отзывались в моем щуплом теле каким-то мерзким дребезгом.

– Не, мне мама не разрешает.

– Фуфло! – азартно кричал он, хватал меня под мышки, взгромождал на багажник и бегом выкатывал велосипед к воротам, вскакивая в седло на ходу.

Мы заезжали бог знает на какие окраины; там он ссаживал меня на очередном пустыре, среди развалин саманных домов, поросших травой, и говорил:

– Вернусь мигом, не ссы!

Возвращался, бывало, часа через два-три, наездившись до онемения конечностей...

– Давай, садись, глиста! – раздраженно бросал мне. – Свалилась на мою голову!

Так однажды он бросил меня на старом мусульманском кладбище, на окраине улицы с победным названием Чемпион.

Весь учебный год через это кладбище, что карабкалось по обрыву над речкой Анхор, ходили учащиеся школы № 8. Но в каникулы там воцарялась тишь, и только сухая жара звенела над потрескавшейся глиной да из зарослей выгоревшей травы внезапно катапультировались кузнечики над полумесяцами ржавых покосившихся оград.

Два забытых мавзолея горбились глиняными куполками, некогда облицованными лазурной плиткой. То ли отвалилась она, то ли кто-то отколупал, лишь осколок последней прикипел к старой глине намертво, и в окружении щетины жестких колосков на нем сидел рыжий голенастый скорпион, подрагивая на солнце занесенным серпом членистого хвоста.

А на пригорке, в затененном шатре старой ивы, мощными корнями тянувшей воду из Анхора, оставался пятачок не опаленной солнцем травы в крапинах белой кашки, среди которой пламенели три последних весенних мака.

...Я провела там весь день – видно, брат забыл обо мне и вспомнил, лишь вернувшись домой, когда бабка ужехватила меня и, перепуганная, искала по окрестным улицам.

На кладбище она меня в конце концов и нашла. Но – не сразу.

Азиатские дремотные сумерки уже напитались зеленовато-волнистым излучением глинистой почвы. В глубокое, еще не черное, а сливовое небо поднимался прозрачный столб мерцающей мошкары.

Когда внизу, на берегу Анхора, показалась сутулая фигура бабки и послышался надрывный крик «Ма-а-амэлэ-э-э!!!» – я пребывала в зачарованном трансе, какой обрушивался на меня несколько раз в жизни. Так в ущелье из-за горных вершин на небесное око внезапно вползает мутная катаракта неизвестно откуда взявшегося облака...

Состояние это напоминает обморок, в чье игольное ушко беззвучно просачивается тонкая струйка жизни. Еще это похоже на два снимка, случайно снятые на один кадр и прорастающие друг в друга.

Механизм погружения в эту бездну можно сравнить с раскручиванием карусели. Некая деталь, образ, мысль, засевшая в сознании и странно меня волнующая, служит осью, и вокруг нее, вначале неспешно покачиваясь, вразвалочку плывет окрестное пространство. Затем хорошо прихватывает бегущие рядом мысли и образы; скорость вращения увеличивается, быстрее, быстрее... вскоре все сливается в пеструю ленту, а затем и вовсе растворяется. Мир вздыхает и гаснет в жемчужном мареве, в питательной среде, способной взращивать самые причудливые фантомы...

Так пророс сквозь мое забытие далекий бабкин рев. Я лежала в плакучем шатре старой ивы, под большой лиловой прорехой, вроде окна; в ней остро вспыхивали еще слабые звезды, постепенно накаляясь, роясь и кружа...

– Ма-а-а-мэлэ-э-э!

Почему я не отзывалась на этот умоляющий зов – мне до сих пор непонятно.

Продолжала тихо лежать, уплывая в звездное окно плакучей ивы, плаваясь в тихой истоме блаженного полуобморока...

В конце концов бабка набрела на меня, вздернула с земли, плача и ощупывая с головы до ног.

Мы поплелись домой: она – обессиленная после стольких часов волнения и слез, я – восстановившая от странного сна.

Я ничего не объясняла, да и не смогла бы объяснить, и бабка, видимо, решила, что я просто заснула там, под деревом, потому и не успела испугаться темноты и кладбищенской заброшенности.

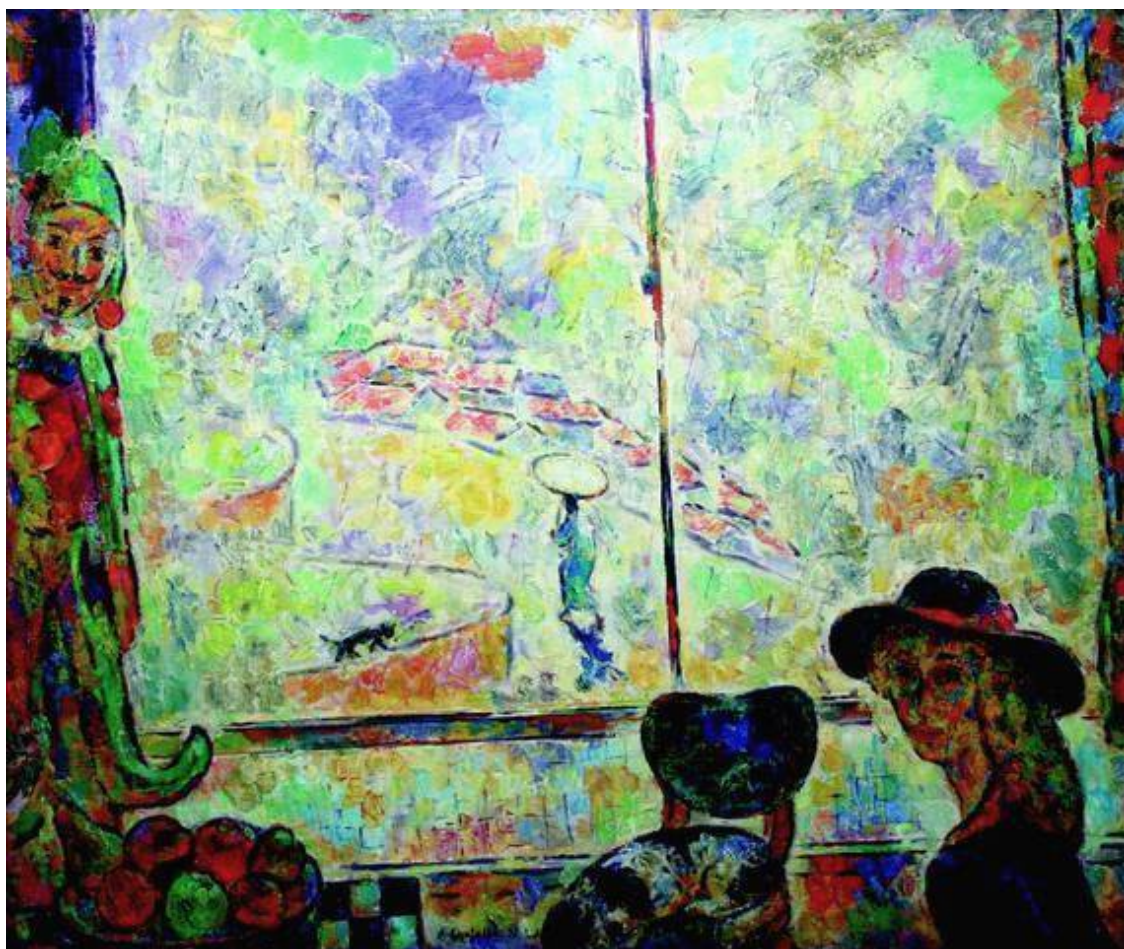
Вечером брат был исстеган самолично моей мамой, явившейся после работы навестить дочь и родителей. Узнав о моем приключении, она схватила со спинки стула дедов ремень и увалисто погналась за племянником вокруг стола (она донашивала мою младшую сестру), пытаясь достать поганца. Тот ловко уворачивался, скакал по стульям, взлетал на стол, спрыгивал на топчан, где долгие месяцы кротко умирал от рака дед, дразнил маму и смеялся; правда, и получал время от времени, и тогда взвизгивал, словно от удовольствия, яростно расчесывая место удара...

Но звон и шепот летнего дня и полное звезд окно в темной кроне одинокой ивы с тех пор навсегда слиты в моей памяти со старым мусульманским кладбищем...

* * *

К чему я мысленно расставляю фигуры для очередного драматического спектакля на открытой сцене моего неугомонного воображения? Словно мне предстоит рассказать о некоем волнующем событии... Вздор: ничего особо волнующего не помню. Вот только один эпизод... я назвала бы его обратной рокировкой на *круги своя*.

И это тоже было на каникулах, на летних: во двор въехал грузовик с мебелью, в кузове которого, обняв ореховый буфет без дверец, стоял мой дядька с почерневшим лицом.



Дождь идет. 1995

Машина подползла к веранде, борта со стуком откинулись, и водитель с дядей принялись втаскивать в дом наспех связанные тяжелые узлы, из которых свисали бессильные рукава и горловины платьев и свитеров. Из кабины упруго выпрыгнул мой брат, раскрасневшийся, возбужденный, и, пока дядька молча сновал из дома к машине, принимая на спину и плечи тюки и мебель, захлебывающимся от восторга шепотом рассказывал на веранде растерянной бабке, как *papa* стоял перед *той* на коленях, умоляя остаться и простить.

– Ни хрена ему не помогло! – с торжеством приговаривал братец свистящим фальцетом. – «Умоляя-а-аю: прости и оста-а-анься!»... Ни хрена не помогло!

Ума не приложу, за что мог просить прощения у женщины мой святой дядя, но догадываюсь, что только за сына – паскудник был невыносим. И судя по тому, с каким восторгом, обхватывая обеими руками невидимую бочку перед собой, тот демонстрировал друзьям во дворе размер «Лизкиных титек», полагаю, что та его застукала за подсматриванием. Могу только предположить, что Лиза настаивала на удалении этого оболтуса из дома, а дядя, отлично сознавая, до чего может тот докатиться без отцовского пригляда, не согласился...

Понимала ли я тогда, что на моих глазах происходит одна из тех незаметных прекрасных драм, на которые в конце пути ты оборачиваешься с благодарными слезами? Да нет, конечно. Все поистине драматические события моего детства выглядят сейчас сценами из кукольного спектакля – да детство и не умеет сопереживать иначе. В те минуты картина душераздирающего объяснения в духе индийских мелодрам, заполонивших и покоровивших Ташкент, воссияла во всю ширь мечтаний семилетней дуры, и я испытала восторг не меньший, пожалуй, чем мой окаянный брат.

Между прочим, бабка тоже любила индийские мелодрамы.

Однажды пошла со мной на дневной сеанс в кинотеатр «Тридцать лет Ленинского Комсомола», на фильм «Рама и Шама», где всхлипывать начала, кажется, на титрах в начале, а в конце уже рыдала в голос. Мне странно это вспоминать: в ее характере не было ни грана сентиментальности. Вероятно, тут срабатывало некое эмоциональное сопереживание. Хотя ее насмешливый артистизм придавал всему, на что она смотрела, холодноватое отстранение: актеры вообще редко бывают сентиментальными.

И, как любой актер, она была напичкана байками и притчами – только не заемными, а почерпнутыми в собственной жизни и в жизни местечка Золотоноша. У нее и притчи об ангелах были похожи на рассказы о соседях и родственниках. Так, в детстве, я много раз слышала о Самаэле и Гавриэле, лихой парочке ангелов, порученцев самой Смерти; они шлялись по миру, выглядывая подходящую дичь, каждый со своим подручным инвентарем. Такими вот баснями потчевала внучку моя артистичная бабка:

– Двое их, – говорила она деловито, будто обсуждала с соседкой купленную на Алайском курицу. – Двое их у нее на подхвате: ангел смерти Самаэль и ангел смерти Гавриэль. Самаэль – тот приходит за грешниками со щербатым ножом, еще и ядом отравленным. О-о-от такой секач, не дай боже! – показывала руками, как рыбак отмеряет размер пойманной рыбы. – А Гавриэль – того за праведниками посылают. Нож его отточен, остер, как бритва, на солнце сверкает. Ударит этим ножом точно в грудь – и отправит тебя прямо в рай!

– Меня?! – пугалась я. Мне тогда не очень хотелось в рай. Да и сейчас не очень хочется.

– Зачем – тебя? Ты что, мамэлэ, не дай боже... ты ж махонькая! Это я так, к примеру... К тому, что о божьем наказании надо помнить.

Кстати уж, о наказании.

В конце жизни она явила свою лютую натуру во всей блистательной полноте; можно сказать, сживала со свету родную сестру Берту. Дед к тому времени давно умер, умер и Бертин муж, любимый мой дядя Миша, а старухи все тянули упряжку несносимых генов семейства Когановских. Так вот, в конце жизни, – после того как знаменитое землетрясение полностью изменило облик Ташкента и в центре его выросли районы безликих новостроек, в одном из которых мой дядька с третьей, окончательной женой получил квартиру, – обе старухи оказались в соседних комнатах. То ли ревнуя, то ли припоминая все грехи Бертиной жизни, бабка азартно преследовала сестру, где и как только могла.

– Побойся бога! – кричал ей собственный сын, мой постаревший дядька, ярый приверженец советской власти и ярый безбожник, само собой. – Бога побойся!

(Увы, вся наша семья склонна к мелодекламации.)

Иногда, впрочем, он кричал что-то вроде: «Совесть имей!» – и я уже тогда в этом чувствовала снижение пафоса, как если б Шекспира на сцене заменил какой-нибудь советский драматург. Бабка с невозмутимым видом отворачивалась: она плевала на этот самый божий суд. А может, настолько была уверена в заступничестве деда Сэндера – там, откуда высылают небесного гонца с орудием казни? Может, надеялась, что во исполнение цехового братства резников дед в последний момент уломает *тамошних* заменить Самаэля с его ужасным щербатым тесаком на милосердного резника Гавриэля, дабы тот опытной рукой пронзил мою грешную бабушку сияющим ножом блаженства?..

* * *

По ее рассказам получалось, что была раньше какая-то другая жизнь. Бабка училась в гимназии целых три года, как ни крутите, и влюбленный художник писал с нее «портрет». Странно, думала я, почему жизнь так изменилась? Куда делись все эти изящные длинные

платья, все эти томные позы, романтические венецианские окна, пусть и нарисованные? Где туфельки с медными пряжками? Где, наконец, ее, моей бабки Рахили, холеные ручки? Уж их-то не могла «украсть» никакая революция...

Оказывается, могла и украла.

Впрочем, в детстве мне позволялось открывать большой скрипучий шифоньер с зеркалом, развязывать тюк из старой простыни и копошиться там, в темной пахучей утробе (крахмал, нафталин, затхлая шерсть и сухо скрипящий крепдешин), перебирая «шматэс». Там я откопала черную лаковую сумочку – «клатч», настоящие лайковые, с двумя дырками на указательных пальцах, перчатки, три ветхих воздушных, крючком вывязанных воротничка, а также множество бархатных, меховых и крепдешиновых обрезков.

Но что с детства было предметом моих вожделений, так это бабкина шкатулка с пуговицами, обклеенная настоящими морскими ракушками разной величины – горбатенькими, ребристыми ладошками, каждая наособицу, каждая своего цвета, от молочного до пурпурного, – как и пуговицы, что в ней хранились. Я откидывала ребристую крышку, выбирала самую большую перламутровую пуговицу, с блестящим стеклышком посередке, и спрашивала:

– А эта от чего?

И бабка сочиняла очередную историю из серии «у нас в Золотоноше»; и поскольку я не умела и не хотела шить, штопать, вышивать и вообще возиться с мерзкой кусачей иглой и нудной ниткой, вечно выпадающей из угольного ушка, история была, конечно, о нерадивой дочке тамошнего «почтаря» или фельдшера, об избалованной дочке, которая иголку в руках удерживать не могла и пуговицы пришивать чуралась, а потому папаша каждый месяц привозил из Полтавы дюжину новых пуговиц, старые-то повисят-повисят на нитке, да и потеряются... И вот однажды посватался к ней человек у дачный, *уважительный* и самостоятельный, из Фастова. Папаша обрадовался и по такому случаю решил заказать одному такому-некому художнику дочкин *портрет*, чтоб она – в красивом жакете с перламутровыми пуговицами...

Стоп! А между прочим: что же, в конце концов, стало с *нашим* портретом?

Да ничего – в сущности. Стоял на комоде, потом сгинул вместе с изрядной половиной семьи – обычная присказка рутинных трагедий моего народа в середине двадцатого века.

Но между тем утром, когда моя восемнадцатилетняя бабка Рахиль, еще не *вытанцованная* моим дедом Сэндером, сидела на стуле и послушно смотрела туда, куда просил ее смотреть художник (на угол зеркала, где солнечный луч высекал снопы радужных игл), – так вот, между тем утром и бездной войны, эвакуации, нищеты и убожества послевоенной советской жизни произошло, как выясняется, кое-что еще.

Кое-какой эпизод...

Однажды, припомнила мама, классе в пятом она вернулась из школы, и в комнате за круглым столом сидела ее мать Рахиль, а напротив какой-то дяденька, торопливо вытиравший обеими ладонями лицо. И хотя он отворачивался и даже не кивнул на звонкое мамино «Здрасьте!», мама, девочка и в те годы приметливая, поняла, что дяденька плакал. А потом он ушел, чуть ли не бегом, даже не обернувшись на очень задумчивую мою бабу.

– Думаю, это он и был. Из Харькова приехал, перед своей свадьбой – в последний раз на нее поглядеть. А не женился-то, прикинь, сколько лет?

– Художник?! – ахаю я.

– Да какой художник, – отмахивается мама. – Он в те годы уже не был никаким художником. Тогда разве до баловства людям было. Он был главным технологом на каком-то крупном швейном предприятии – так Маня потом рассказывала, а Маня, их младшенькая, ох, та была наблюда-а-ательная... Постой! – Мама шлепает себя по коленям. – А вот пальто же, пальто, а?!

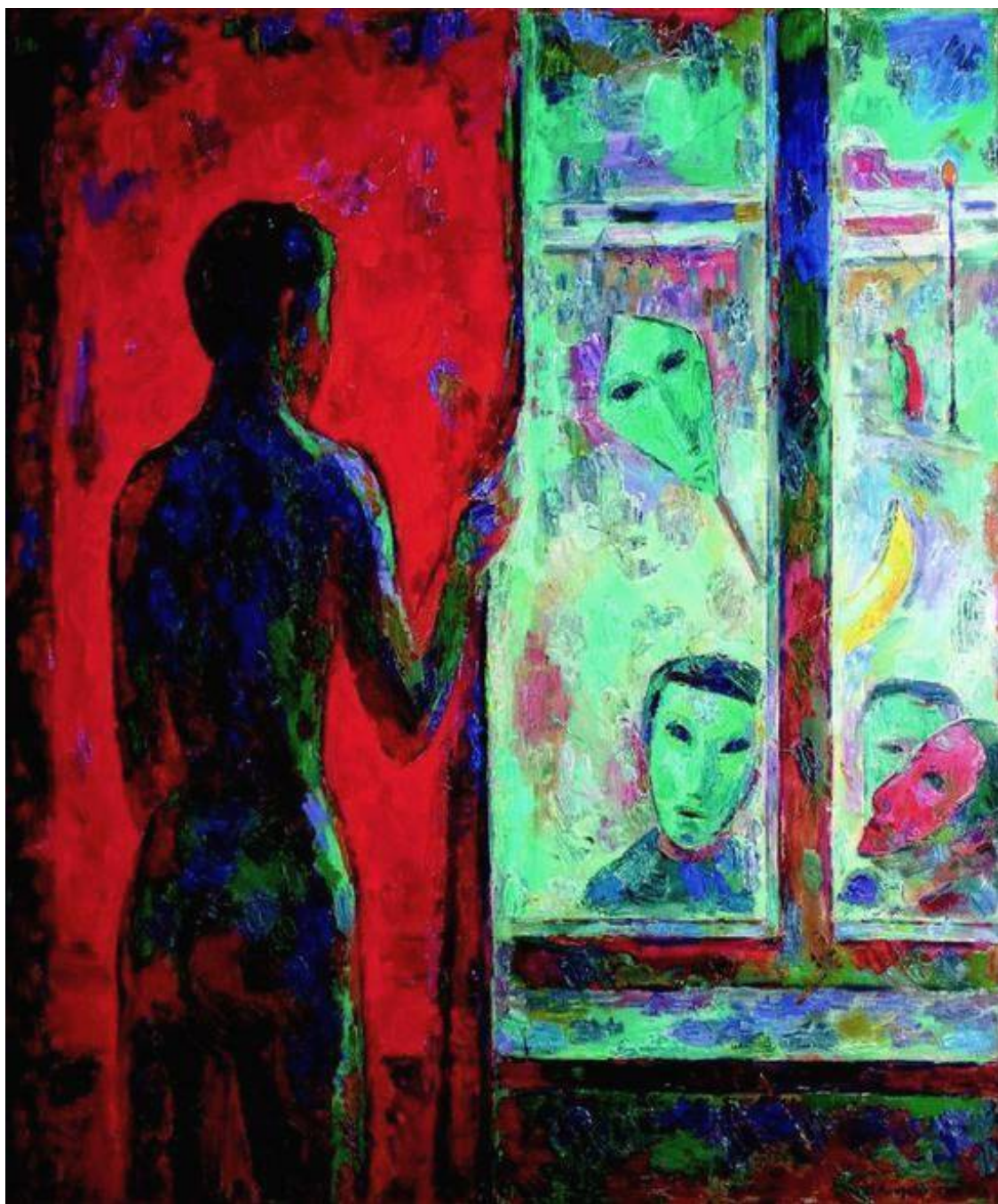
– Какое еще пальто?

– Ну, пальто ж ее – роскошное, шевииотовое, воротник норковый... ах ты, господи, ведь это он ей привез, а? Я ведь теперь только поняла: привез тогда ей в подарок. Ну, как же! Откуда еще могло такое у нас взяться? Она, конечно, деду-то легенду сочинила – это ей было раз плюнуть. Но так, если подумать... больше неоткуда. Главный технолог предприятия, он это пальто ей, должно быть, спецзаказом привел... Да ты что, балда, не помнишь наше знаменитое семейное пальто?!

Как же такого не помнить, когда бабкино пальто – действительно роскошное, сшитое по каким-то заграничным лекалам, – сопровождало меня чуть не половину моей жизни. Вернее, прожив половину *своей* жизни, оно словно бы догнало меня на середине собственного пути, и далее мы существовали рядом. Сначала много лет его носила бабка – тогда еще высокая, статная – и шоколадного цвета шевииот облегал ее фигуру так зазывно, что... (Тут опять мама: «Да на нее оборачивались!» Я: «Ты говорила – на пляже оборачивались». Мама: «И на пляже, и в пальто! Мужской глаз, знаешь, как цепляет!»)

Короче, бабка носила пальто до войны и в эвакуацию – вернее, в три эвакуации – на Кавказ, в Казахстан и, наконец, в Ташкент, – пальто с собой потащила и, что удивительней всего, сохранила. Не продала, не обменяла на продукты даже в самые тяжелые военные зимы. Затем, в пятьдесят втором, когда поженились мои родители, пальто торжественно перешили маме – это был царский свадебный подарок: в то время такое пальто, говорит мама, уверяю тебя, совсем не на каждой даме было...

И мама, на которой пальто сидело *умопомрачительно элегантно* (каждая эпоха награждает свои ценности собственными эпитетами), тоже носила его ой-ёй-ёй сколько лет, пока, основательно его перелицевав, не сшила мне (кажется, классе в шестом) миленькую курточку до колен, выкроив из лысоватого воротника дивные обшлага на рукава. И я бы носила эту курточку с удовольствием, если б не все тот же двоюродный братец, который с поразительным упорством дразнил меня «полупердином», когда я ее надевала.



Созревание. 2001

А на закате биографии – увы, столь частый удел многих блистательных биографий – роскошный шевиот отправился на хозяйство: из курточки сшили Дуню – ватную бабу с целлюлоидной головой моей старой куклы, под которой грели обед. Просторное шевиотовое брюхо, подбитое ватином, хранило нутряное тепло вареной картошки, макарон по-флотски, а чаще всего гречневой каши – любимого блюда нашей семьи.

* * *

Вот тут о гречке. И о бабке...

В детстве я бесчисленное количество раз наблюдала, как моя бабка моет гречку. Сначала разбирала ее, сидя за столом на высоком, чрезвычайно неудобном табурете (ноги болтаются,

спина согнута колесом), вылавливала щепочки, откатывала пальцем крошечные камушки, отсортировывала черные крупинки, наконец, ребром пригоршни скатывала горстку в частый сетчатый дуршлаг. Затем отобранную гречу принималась мыть, и мыла, и мыла, и мыла под сильной бесконечной струей...

Вбегая со двора на кухню, я говорила:

– Ба, ну ты здесь водопад погнала!

Она неизменно отвечала одной и той же притчей. Распевным тоном, громко, перепевая шум воды:

– Вот собрался жениться самый богатый холостяк местечка. И пошли сваты по домам. Везде один и тот же вопрос девушке задавали: «Ты сколько раз гречку моешь?». Одна отвечала: «Трижды мою». Другая, аккуратистка, хозяйюшка, отвечала: «Аж пять!» Наконец, приходят в совсем бедный дом, выходит пичужка – смотреть не на что... «Сколько раз ты, милая, гречку моешь?» Поглядела она на них ясными глазками и говорит: «Пока чистой не станет». «От эту берем!» – закричали сваты...

Думаю, бабка с ее притчами и историями типа «Иду я вчера, а мне навстречу...» – она и была первым для меня ненавязчивым консультантом по стилю. Иногда меня не устраивали какие-то сюжетные подтасовки, я внутренне восставала, пыталась уличить ее в стилистических натяжках:

– Почему у третьей – ясные глазки? – упрямо уточняла. – Она их тоже долго мыла?

– Та не, – легко отзывалась бабка. – Так оно к слову пришлось.

Иногда мне хотелось сделать назло, сломать лилейный и ханжеский образ притчи. И в другой раз (бабка была способна невозмутимо пересказывать одно и то же хоть и каждый день), на словах «выходит пичужка, смотреть не на что...» я мерзким голосом выкрикивала:

– Выходит лохматая, грязная, хромая, картавая: «Я тут вашу духацкую гхэчку мою, мою, мою весь день, потому что я – ду-у-ха!»

Довольно часто, когда мне хотелось ее довести, я принималась хохотать, как безумная, над каждым ее словом.

Тогда она значительно говорила:

– Есть два типа женского лица: «Подойди ко мне!» и «Отойди от меня!»...

И сразу становилось ясно, какой тип женского лица я в данный момент представляю.

Если же я упорствовала в своем идиотском хохоте, не умолкая, сама от себя заражаясь щекотливым всхлипывающим весельем, она укоризненно произносила на идише:

– Отец, ты смеешься? Горе твоему смеху...

Почему никогда не пришло мне в голову выяснить, отчего это она обращается ко мне словом «отец»? Из какой высокой трагедии взяты эти слова? И *какой* отец имеется тут в виду... Все то же глазастое, но равнодушное детство: ведь мир принадлежит тебе одному и вращается вокруг тебя со всеми своими людьми, словечками, поговорками, чудесами, и так оно и должно быть, и будет так всегда...

Идиш я понимала. Не все, но общий смысл. На идише бабка говорила только с дедом и мамой. Когда они усаживались делать пирожки с капустой или с яйцом, или принимались шить, штопать – мягкая гортанная речь перелетала от одной к другой где-то над моей макушкой, едва касаясь сознания... Если дважды, со вздохом повторялось *цим ламп* – «до лампы», – можно было быть уверенной, что речь идет обо мне; бабка любила приговаривать, что *этой упрямой козе* все – «до лампочки». И, по сути дела, это было правдой: я росла девочкой, замкнутой в своем мире. Да такой, собственно, и осталась – если принять во внимание скуку, что неизбежно охватывает меня в любом общественном действе, в самом интересном месте спектакля, в гуще всевозможных «презентаций», «фуршетов» и прочей маеты...

* * *

Иногда на меня накатывало желание покрутиться возле нее на кухне, послушать еще какую-нибудь историю, поучаствовать в приготовлении мацы, которую бабка не покупала, а всегда выпекала на Пасху сама. Это были тонко раскатанные круглые пластины пресного теста, которые она протыкала вилкой – «чтоб дышало». Если я хорошо себя вела, мне поручалось «тыкать».

– Натычь, – говорила бабка, вручая мне тяжелую вилку, и, схватив ее в кулак – так убийца хватает нож, – я, остервенело оскалившись, быстро-быстро всаживала все четыре зубца в кругло раскатанный блин, усеивая его множеством ранок.

(Такую мацу лет сорок спустя я видела на иллюстрации к старинной испанской пасхальной *агаде*. Значит, испанские кумушки пятнадцатого века мацу готовили в точности как моя бабка...)

Когда мы с нею «работали», между нами возникало теплое чувство совместного деятельного усилия. Если ей казалось, что я мухлюю, она, глядя в окно на хлопотливую тополиную листву, меланхолично произносила длинную фразу на идише, которую сама тут же и переводила эпическим полунапевом: «Небо и земля клялись, что тайн на свете не бывает».

– Каких еще тайн? – подозрительно уточняла я.

– Та я к слову, – невинно отзывалась хитрая бабка.

С нею ловко было работать – уютно, ладно, споро... Недаром на конфетной фабрике своего отца, а моего прадеда Пинхуса Когановского Рахиль была лучшей заворотчицей. Вот надо же, чуть не забыла: ведь моя бабка на старости лет стала *стахановкой*. Перед войной ее, вечную домохозяйку (дед Сэндер считал, что женщина должна сидеть дома и растить детей), сестра Вера, впоследствии расстрелянная в очередном рву под Полтавой, решила устроить на местную конфетную фабрику, где сама работала бухгалтером. «Будет тебе *черта смолить*, – говорила она, – дети выросли, хозяйство невеликое. А тут все же общество, и подработаешь».

Когда начальник цеха увидел *новенькую* – женщину немолодую и дородную, – он сказал Вере:

– Ты что, Верпетровна! Ты б еще инвалида какого приволокла... Мне ж ее год учить, не меньше. Не-е... в нашем деле молодая сноровка нужна...

– А разрешите к столу присесть? – спросила бабка и, уже не обращая внимания на начальника цеха, села в ряду мастериц-заворотчиц и принялась за дело. Через минуту вокруг нее собрался весь цех. Люди глаз не могли оторвать от едва заметной ювелирной точности и феноменальной скорости, с которой полные руки этой женщины совершали множество молниеносных движений.

Так вот, бабкины притчи. Все они были из разряда про *живую жизнь*. Рассказывала она как бы между прочим, неторопливо, закрывая пельмешки, заворачивая голубцы, раскатывая скалкой круг теста или уминая ложкой фарш в пустое нутро болгарского перца. Но в тот момент, когда должна быть произнесена ключевая реплика, приостанавливалась. Вот кто умел держать паузы – так это моя бабка. Системы Станиславского она не знала. Но оторвать взгляд от движения ее бровей, губ и глаз было невозможно:

– У нас в Золотоноше семья жила, аптекой владели... Всем там заправляла мамаша – грозная старуха была, скупая. Кухарки у них не было, мамаша сама кухарила. И требовала, чтоб вечером вся семья за ужином собиралась. Самолично каждому в тарелку клала кусок мяса из борща. Однажды сын – так получилось – приходит домой пораньше. Ищет мать... в комнатах нет, во дворе нет... Заглянул на кухню – а там сидит его мамаша, выловила из борща лучшие

куски мяса, полную тарелку себе наложила и уплетает за обе щеки. «Что вы делаете, маман?» – спрашивает сын, вытаращив глаза. «Что я делаю? – отвечает та. – Я кормлю вас вашу мать!»

Это – при нарочитой скупости жестов – всегда была точно разыгранная сценка. Неприятно удивленный сын, заставший мать за поеданием лучших кусков, и – легкое движение бровей, усмешка, пожатие плеч – великолепный апломб невозмутимой старухи. Одна картинка сменяла другую, и, бывало, за приготовлением пирожков бабка умудрялась развернуть передо мной целый ряд сцен и анекдотов из жизни дореволюционного местечка. Иногда та или другая история возникала на почве раздора, когда, к примеру, мне предлагалось вымыть посуду, а я бесстыдно отлынивала.

– Женское лицо... – начинала она.

– Знаю, знаю! – огрызалась я. – Бывает двух типов: отойди-подойди!

– Та я ж не о том, – покладисто отзывалась бабка. – Я о жизни. Бывает, повезло девушке: родилась она ладненькая, да красивая, да с характером... Но счастье совсем не этим прима-нивают.

– А чем? Чем?!

– У нас в Золотоноше семья жила, люди серьезные, состоятельные... Он был закупщик, деловой такой мужчина, со *срэдствами*; жена шила наряды аж в Киеве. Дочь у них была одна, и такая, скажу тебе, дочка... ой-ёй-ёй! И вот к ней посватался один из Сатанова. Тоже не бедный: компаньон отца по торговым делам. Не очень молодой, но так, в возрасте и еще в силе. Свадьба была – дым коромыслом. Петарды в небо пуляли, аж на дальних лугах было видно, как днем. Ну, отпраздновали, и отбыли молодые в Сатанов... Проходит неделя, другая... никаких оттуда вестей. Молчок, тишина... То-о-олько мамаша с папашей наладились в гости к дочери – как там, *эр зугт*, наша дочка хозяйюшкой в дому живет? – как однажды утречком едет издали телега, со стороны Сатанова. Ме-е-е-едленно едет, потому как гружена доверху. А за телегой мальчишки бегут – гвалт, шум, свист... Соседи выглядывают в окна и видят: правит телегой зять...

– Компаньон? В возрасте и силе?

– Ну да... Правит зять телегой, а за ним сидит понурая молодая. А позади – гора немытой посуды! Чашки, тарелки, супница в лиловый цветочек...

– Потому телега медленно ехала? Чтоб не разбить?

– Ну да. Ты слушай, слушай. Для тебя рассказываю... Приближается этот *кортэж* к дому... останавливается... И на глазах оторопевших родителей зять ссаживает молодую. Принимайте, *эр зугт*, свое сокровище, а заодно и все ее приданое. Ни одной чашки, *эр зугт*, за три недели она не помыла. Кончался один сервиз – ели на другом. А теперь, *эр зугт*, сервизы кончились, и таки закончилась моя семейная жизнь...



Ущербная луна. 2011

Лицо ее при этом сохраняло невинное и даже особо доверчивое выражение, но при этом она, якобы украдкой, посматривала в сторону таза, полного грязной посуды.

– А-а-а! – вопила я. – Ты все врешь! Это ты придумала! Супница в лиловый цветочек! Придумала!

– Как такое можно придумать, – укоризненно отзывалась она. – Это же не книжка, это *живая жизнь...*

* * *

«Живая жизнь», которую моя бабка так любила расцвечивать своими историями, остается неизменной, даже когда заканчивается.

Бабкина долгая цепкая жизнь закончилась без меня – я в то время жила в Москве, и о том, как поживает моя «заядлая бабка», узнавала из маминых звонков. В последние годы бабка сидела в кресле, ноги отказали, но память и ясный ум не оставили ее до самого конца.

– Ты что на завтрак приготовишь? – спрашивала она уже немолодую мою маму, которая добиралась к ней каждый день двумя трамваями.

– Оладушек нажарю...

– Оладушки были вчера.

– Может, овсянку сварить?

– Овсянка позавчера была... У тебя что, фантазии не хватает? У нас в Золотоноше семья жила, так их ленивая прислуга наладилась каждый божий день жарить драники с лучком... И все драники и драники: в понедельник – драники, и во вторник – драники, и в среду...

Это было тяжелое время, когда я решала самую трудную задачу своей жизни – извечную задачу моего народа по возвращению на круги своя – большую рокировку на пути преодоления Синайской пустыни.

В один из предотъездных вечеров позвонила мама и заплаканным, но освобожденным голосом проговорила:

– Бабушку похоронили... Вот смерть! Во сне ушла... Кто угодно позавидует.

Выходит, подумала я тогда, дед Сэндер все-таки выхлопотал для своей Рухэл легкую участь – там, где усердно правит нож его коллега по цеху резников ангел смерти Гавриэль.

– Грешно сказать, – добавила мама со вздохом, – но она будто подорожную нам выписала. Давай, диктуй по пунктам – с чего начинать там, в этом ОВИРе?

В те дни и недели, одолевая предотъездный морок, я слишком была взвинчена, слишком измучена переживаниями, слишком яростно боролась в каждой ночи с собственным ангелом, пытаюсь вырваться из тисков сомнений и страха; и в то же время слишком была устремлена в неизвестное, обмирая от мысли, что неверным решением могу погубить всю семью...

Кончина девятиностопятилетней бабки в эти дни ощущалась мной как всеобщее освобождение: так вол, нагруженный жестокосердным хозяином, сбросив со спины один из тяжелых тюков, легче ступает по краю пропасти...

* * *

Думать о ней, о ее жизни я стала совсем недавно... Возможно, потому, что состарилась мама и вдруг сквозь ее совсем иные родовые черты стала проступать бабкина мимика, ее вздергивание брови, ее морщинистая усмешка... А может, потому, что повзрослела моя дочь и стала напоминать юную бабку на той допотопной фотографии. Бывает, сидим за субботним ужином, и принимается она рассказывать что-то смешное из своей археологической практики: все те же развалины, библейская скала, обломки колонн – а я глаз не могу оторвать от ее взлетающих рук. Впрочем, любовь к дочери – дело нехитрое.

И все-таки что заставляет меня столь настойчиво думать о бабке?

Я пытаюсь осмыслить страшное несоответствие между отпущенными ей при рождении дарами-талантами и тусклой, ничем не примечательной судьбой домохозяйки. О ее жизни, выброшенной на ветер; о неудаче творца, о разбазаривании такого богатого материала. Что

случилось там, наверху, в момент, когда перл человеческий вышел на орбиту Судьбы? Чего не учли, что не доделали в высочайшем отделе кадров и кто из ответственных лиц так напортачил?.. Другими словами: как умудрились бездумно *запороть такой объект?*..

– Помнишь, какой она была рассказчицей? – спрашиваю я маму.

– Я тебя умоляю, – отзывается та. – Что такого бабка могла рассказать? Историю из трамвая?

– Ты что?! – кричу я с досадой. – Не помнишь ее монологи?! Она ведь сама сочиняла текст, когда изображала людей. Да в ней умерла великая актриса и, может быть, замечательный писатель!

– Ты домысливаешь... Творческое воображение. Вот когда я объясняла урок на тему «Убийство императора Павла Первого» и описывала, как...

Ну да, да, это правда: когда мама описывала, как, заслышав шаги убийц на лестнице, Павел вскочил с кровати и спрятался в камине... «Но экран камина не мог скрыть его ноги, – торопливо-взволнованно продолжала мама, простирая руку в угол, – и едва взошла луна, осветив эти бледные полудетские ступни – там, там, в углу комнаты!..» В этом месте весь класс, как по команде, вставал и заворуженно глядел в пустой угол аудитории.

– И все-таки, – не успокаиваюсь я. – Если б она вышла замуж не за деда Сэндера, а за того художника и он увез бы ее, скажем, в...

– Он увез бы ее в Харьков, где она точно так же родила бы двоих детей, и мыла гречку, и раскатывала мацу. Не тешь себя иллюзиями. Это просто в ней артистическая жилка билась, как во всех нас. Вспомни: когда ты выступаешь, кто-нибудь из публики обязательно спрашивает, какой театральный институт ты закончила.

И это, что уж там скрывать, – правда...

* * *

А *живая жизнь* все длится, обнаруживая удивительные переключки нрава и повадок через поколения. Персонажи бабкиных притч все в конце концов оказываются мною, лично мною – к моей досаде или насмешке.

Вот как я мою гречку. Завершив работу над рукописью к обговоренной дате, я тяну и тяну, не в силах с ней расстаться. Там заменяю одно слово на другое, подумаю и верну прежнее; там вместо точки поставлю запятую, сотру и заменю многоточием. Ведь *живая жизнь* из всех знаков препинания в финале предпочитает именно многоточие.



Ноктюрн. 1994

Недавно, читая сборник притч и рассказов о Бегите – великом Баал-Шем-Тове, мудреце, каббалисте и хасидском мистике XVIII века, что жил неподалеку от бабкиных мест, в украинском местечке Меджибож, – я с удивленной радостью встречала бабкины притчи. Не в точности ее истории, другие, но это был все тот же извод на тему: «Однажды идет он, а навстречу...» или: «Жил у нас в Сатанове один мужчина...» А то и так: «Женился он на другой, и родила ему та двух сыновей. И не знаю, близнецов ли или же одного за другим...»

Это была все та же поучительная, обстоятельная библейская телесность, та же конкретность деталей в сочетании с мистическими высотами сияющих чудес.

Целый мир, целый огромный мир парил там над землей, не улетаая, однако, ввысь, но и не растворяясь в воздухе, а протягивая крепкие нити между землей и небом, как бы втолковывая всем нам, что не может быть одного без другого и что *небо и земля клялись: тайн на свете не бывает...*

Кто только не населял мир этих притч, кто только не клубился, сталкиваясь, переплетаясь и дивясь один другому! Там лихие ангелы входили в дом к бедняку, просясь на ночлег, там усердно, будто золотой песок, хозяйюшки мыли гречку до небесной чистоты житейских помыслов, там бродяги и *лэйдеееры* смолили на продажу отборных чертей; там милосердный резник Гавриэль вонзал блаженный нож в иссохшую грудь нищего праведника, отпуская в полет его истомленную душу...

Но вот что интересно мне сейчас: всего три года обитали в домике на Кашгарке мои дед с бабкой, всего несколько каникулярных недель я у них провела и, в сущности, мало что помню: узбекское кладбище на взгорке, последний лоскут последнего майского мака под ветерком; бегущего по засохшей глине скорпиона, старую иву с лиловым окном-прорехой в текучей кроне...

Почему же отсюда, с моих нынешних, совсем иных географических и временных горок, именно этот домик с верандой кажется мне цитаделью спокойствия и любви в сердцевине беспокойного детства? Почему не могу я забыть бинты, змеящиеся по полу, сизые культы еще живого деда и то окно, исполненное листвы или застывших ледяных картин?

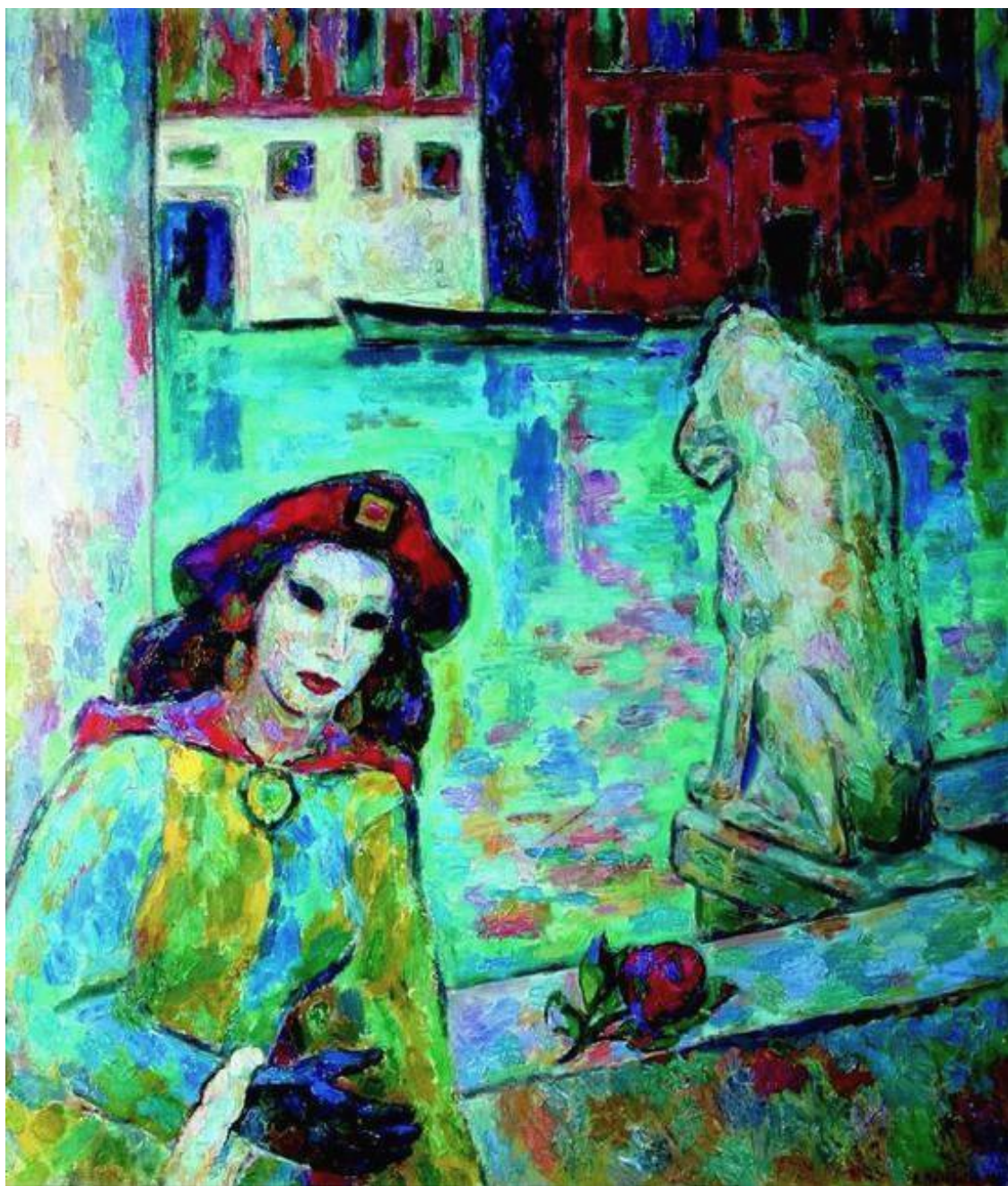
Почему до сих пор манит меня огненный мотылек скудеющей свечи в том давнем, почти неразличимом окне, где все еще трепещет птичьими крыльями заполошная листва начала моей жизни?

Начала жизни, которой не будет конца...

Ты смеешься, Отец? Ты – смеешься?

Торе твоему смеху...

Иерусалим, июнь 2011



Страж Гранд-канала. 2004

Снег в Венеции

*«...Вступает домино – и запретов более не существует. Все гениальнейшие в Городе убийства, все трагедии ошибок случаются во время карнавала; и большинство любовных драм завязываются и разрешаются в течение этих трех дней и ночей, когда мы – на миг – обретаем свободу от рабства паспортных данных, от самих себя...»
Лоренс Даррелл, «Бальтазар»*

Более всего этому городу идет ночь, и, вероятно, особенно хорош бывал он в зловещем свете факелов, в каком-нибудь семнадцатом столетии.

Впрочем, тревожное пламя факела и сейчас иногда озаряет вход в ночное заведение, заманивает в глубокую арку или обнажает подраненный бок кирпичной стены, который неосознанно хочется чем-нибудь подлатать.

С наступлением темноты в черной воде каналов тяжело качаются огненные слитки света. Под каменным гребнем моста Реальто ворочаются с боку на бок гондолы, задраенные на ночь синим брезентом. Мелкая волна раздает оплеухи набережным и сваям, а у входа в палаццо, где мы пьем последнюю за день чашку кофе, два гигантских фонаря на причале освещают витые деревянные столбы, увенчанные полосатыми чалмами, что свалились сюда из сказки о золотом петушке и Шамаханской царице...

1

Но бешеный рваный огонь возник перед нами во второй вечер карнавала, на узкой улочке в районе Каннареджо, на вид совсем уж захолустной. Мы сбежали туда с площади Сан-Марко, чьи мраморные плиты, усыпанные конфетти, утюжила подошвами ботфорт и золоченых туфель, мела подолами юбок и плащей возбужденная костюмированная толпа.

Только что на пьяцце завершилось театрализованное представление в роскошных декорациях, возведенных по эскизам главного сценографа Ла Скалы. Золотом и бархатом сверкали расписанные красками фанерные ложи, экран на заднике сцены в десятки раз увеличивал фигуры отцов города в костюмах венецианских дождей, и когда, овеянные штандартами, они под барабанный бой и вопли фанфар спустились наконец со сцены, публика ринулась к трехъярусному фонтану – подставлять кружки, пригоршни, футляры от очков и даже туфельки под розовые струи вина провинции Венето.

А мы брели в туманном киселе февральских сумерек, дивясь меланхолическому одиночеству этой улицы, как бы утонувшей, исчезнувшей с карты карнавала – возможно, по случаю перебоев с электричеством. Видимо, город, не выдерживая напряжения всех карнаваловых огней, отключал на время какие-то менее туристические районы. Хотя и тут мы то и дело натывались на извечные венецианские промыслы: за арабской вязью низкой приоконной решетки мастерской по изготовлению масок лежал брикет скульптурного пластилина, стояла банка с кистями, кастрюлька с клеевым раствором, ступка с пестиком набекрень...

Мы шли, и я рассказывала Борису о вычитанной в одной из книг о Венеции изобретательной и веселой казни, которую практиковали в дни карнавалов: осужденного на смерть преступника выпускали на канат, натянутый для канатоходцев между окнами палаццо.

– Ну что ж, – благодушно отозвался Боря, – все-таки шанс...

– О да: либо пройдешь до конца и спасешься, либо умри шикарной смертью артиста.

Вдруг из арки впереди выплеснулась лужа огня. За ней вынырнула фигура высокого мужчины в черном плаще с капюшоном. То, что это «моро», видно было не только по маске, но и по явно загримированной мускулистой руке, в которой пленным пламенем опасно захлебывался факел. Мы даже отпрянули, хотя карнавалый мавр находился шагах в сорока от нас.

– Ты идешь? – крикнул он по-английски кому-то за спиной.

– П-п-погоди, туфель спадает! – Из той же арки возникла высокая тонкая фигура в лилово-дымчатом, цвета сумерек, платье, в серебристой полумаске и круглой шапочке на пышных каштановых кудрях. Девушка огляделась по сторонам, обеими руками подхватила подол юбки и заспешила вслед за своим грозным спутником.

– Хороши!.. – невольно выдохнула я.

Они повернули к горбату мостику в конце улицы (яростный огонь в вытянутой руке мавра метался по кирпичу стен, вывалив пылающий язык, словно ищейка на обыске), поднялись по ступеням на мост и канули – так за горизонт уходят корабли, – утянув за собой отблески пламени. И наступила тишина, такая, что в воздухе родился и долго дрожал где-то над дальним каналом стон гондольера:

– О-о-и-и-и!..

– Знаешь, кто это был? – спросил Борис. – Та странная пара, с нашего катера.

– С чего ты взял? Как тут опознаешь...

– Да по голосам, – отозвался муж. Довод в нашей семье убедительный: он безошибочно узнает голоса актеров, дублирующих западные фильмы.

– К тому ж она заикается, – добавил он. – Ну, и рост: оба такие заметные... Наверное, костюмы напрокат взяли... Недешевое удовольствие! У них и чемодан был – помнишь, какой?

И пустился в рассуждения о том, что чернокожие очень органичны в этом культурном пространстве: достаточно вспомнить картины венецианца Веронезе, со всеми его курчавыми арапчатами, живописными иноземными купцами в тюрбанах, лукавыми черными служанками...

– Да и тот же Отелло, – подхватила я, – как ни крути, не последним тут был человеком.

Кстати, чернокожий портье у нас в гостинице был добродушен, предупредителен, расторопен и, на мой слух, отлично говорил по-итальянски. Впрочем, и я, на слух непосвященных, отлично говорю на иврите...

* * *

Мечта о венецианском карнавале сбылась нежданно-негаданно и сбылась, как это часто бывает, в считанные минуты: просто я заглянула туда, куда обычно не заглядываю: в рекламный проспект компании «Виза», который получаю каждый месяц по почте вместе с распечатками трат, по мнению моих домашних, «ужасающими». Там, наряду с путешествиями в глянцевые Барселону, Таиланд и Китай предлагался «Карнавал в Венеции: полет + три ночи в отеле». Цена выглядела вполне одолимой, тем более если покрошить ее на платежи, как голубиный корм на Сан-Марко. И, не давая себе ни минуты опомниться, я позвонила и радостно заказала два билета...

В то время мы с Борисом уже задумали эту странную совместную книгу, где оконные переплеты в его картинах плавно входили бы в переплет книжный, а крестовина подрамника служила бы образом надежной крестовины окна-сюжета. И без венецианских палаццо – с кружевным и арочным приданым их византийских окон – вышло бы скучновато.

– Ну, ясно, отчего так дешево, – огорченно заметил мой муж. Он изучал в Интернете карту на сайте отеля. – Мы загнаны в Местре.

– Как?! С чего ты взял?! – ахнула я.

– С того, что неплохо на адрес гостиницы глянуть, прежде чем банк метать...

Я глянула и застонала: опять мы из-за моего придурковатого энтузиазма обречены молотить кулаками воздух после драки.

А тут еще Борис припомнил слова нашей итальянской подруги о том, что на карнавальную неделю венецианский муниципалитет расставляет по городу регулировщиков, дабы направлять по узким улицам потоки туристов.

– На эти дни надо снимать комнату исключительно в центре, – говорила она. – Жить в пригороде во время карнавала – это самоубийство: сорок минут в электричке, толкотня, жулье, столпотворение народов и уже к полудню – отброшенные копыта.

– Хочешь, пошарю в Интернете? – сочувственно предложила дочь, забежавшая к нам после университета. – Вдруг что-то выловлю.

– Да бросьте вы! – крикнул Борис из мастерской. – Бездна... Люди разбирают гостиницы на карнавал по меньшей мере за год.

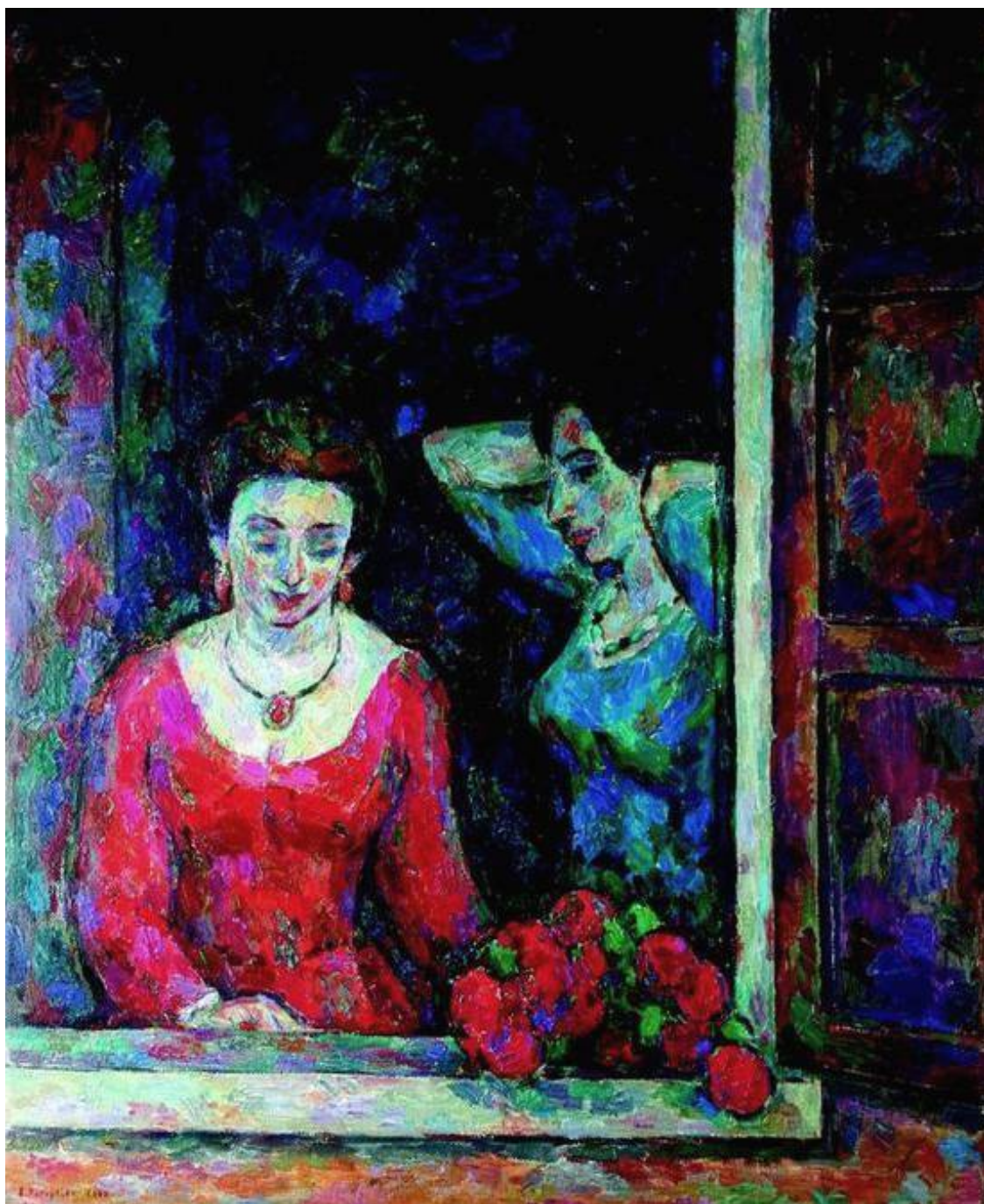
Однако вечером дочь позвонила.

– Слушай, тут выплыл номер! Может, кто отказался. Отель – три звездочки, в двух шагах от Сан-Марко...

– Сколько? – нетерпеливо оборвала я.

Она назвала сумму, от которой я задохнулась.

– Сволочи, сволочи, сво-ло-чи!



«Доброе утро, синьор почтальон!». 2007

– Само собой, не заказываем?

– Заказываем, само собой!!! – крикнула я, как раненый заяц. Деваться-то было некуда.

* * *

Мы опасались, что в очереди на катер «Аэропорт – Венеция» придется отстоять немало времени, но – приятная неожиданность – поток пассажиров хлынул к стоянке такси и обмелел на подступах к кассам общественного морского транспорта. Так что, свободно купив билеты, мы вышли на причал и спустились в салон небольшого катера, что терпеливо вздрагивал на холодном ветру и всхлипывал в мелкой волне, как дремлющий пес на привязи...

Я плюхнулась на скамью возле иллюминатора и тоже задремала, а когда проснулась, катер уже взрыхлял лагуну, точно плуг – разбухшую почву, прогрызая в зеленой воде пенистый путь, и, как от плуга, плоть волны разваливалась по обе стороны от винта. В какой-то момент поодаль возникла и развернулась каменная ограда кладбища Сан-Микеле. Зимнее солнце стекало по черному плющу кипарисов на камни ограды, быстро перекрашивая их широкой кистью в розовый цвет. Мы огибали острова, причаливали, сгружали туристов, раскачиваясь и со стуком отирая бок о причал, и вновь сиденье подо мной дрожало, вновь дребезжало какое-то ведро на корме, и между бакенами убегал назад кипучий хвост адриатической волны...

Борис, как обычно, что-то набрасывал карандашом в дорожном блокноте, бегло вскидывая взгляд и опять опуская. Я скосила глаза на лист и увидела портреты двух пассажиров. Зарисовывать их можно было, не скрываясь: слишком оба заняты собой, причем каждый – собой по отдельности.

Необычная пара: он – высокий, смуглый, атлетического сложения пожилой господин в длинном пальто, с абсолютно лысой, а может быть, тщательно выбритой головой брюзгливого римского патриция. А она – красавица из красавиц. Я даже себе удивилась: как могла пропустить такое лицо!

Юная, лет не больше двадцати, тоже высокая и смуглая, в расстегнутом светлом плаще, который она то и дело нервно запахивала. Редкой, прямо-таки музейной красоты лицо, из тех, что глянешь – и лишь руками разведешь: нет слов! Как обычно, дело было не в классических чертах, что сами по себе погоды еще не делают, а в их соотношениях, в теплом тоне кожи, в каких-то милых голубоватых тенях у переносицы, в ежесекундных изменениях выражения глаз. А сами-то глаза, ярко-крыжовенного цвета, глядели из-под бровей поистине соболиных: густые разлетные дуги, прекрасное изумление во лбу. Это все и определяло: неожиданный контраст смуглой кожи с весенней свежестью глаз, да еще роскошная грива темно-каштановых кудрей, спутанных мастой ночного рейса.

Господин в длинном пальто всю дорогу непрерывно говорил по двум телефонам, полностью игнорируя спутницу, хотя она то и дело к нему обращалась, даже подергивала за рукав – как ребенок, что пытается завладеть вниманием взрослого. Время от времени он вскакивал и разгуливал по салону катера, содрогавшемуся в усилии движения, и вновь садился, нетерпеливо перекидывая ногу на ногу, иногда грозно порывкивая на невидимого собеседника. Похоже, он давал указания сразу трем туповатым подчиненным или заключал по телефону сразу три крупные сделки. Говорил на каком-то смутно знакомом мне по звучанию языке, хотя девушке отвечал – да не отвечал, а буркал – по-английски. Возможно, ему не хватало терпения ее выслушивать: она довольно сильно заикалась. Юной красавице он годился в отцы, хотя мог быть и мужем, и возлюбленным, и боссом.

Наконец дорога меж бакенами сделала очередную дугу, катер лег на бок, разворачиваясь, и утренней акварелью на горизонте – слоистая начинка черепичных крыш меж дрожжевой зеленью лагуны и прозрачной зеленью неба – открылись купола и колокольни Венеции, к которой катер энергично припустил вскачь.

Интересная пара сошла на остановке «Сан-Заккария». Поспевая за мрачноватым спутником, девушка что-то горячо повторяла, потрясая глянцевым листком какой-то рекламы, извлеченным из сумочки. В тот же миг в кармане его пальто очередной раз грянул марш, он выхватил мобильник и прикипел к нему, отмахиваясь от девушки.

– Ты обратила внимание, какой у них чемодан? – спросил Борис.

Явно очень дорогой чемодан на упругих колесах, с множеством накладных карманов, застежек и ремней катил за хозяевами послушно и легко и казался общим ребенком, которого усталые родители волокут домой за обе руки.

* * *

Наш отель стоял на одном из каналов. Попастъ в него с набережной можно было только через горбатый мостик: мини-аллюзия на замок с перекидным мостом через средневековый ров. Высокие окна вестибюля – днем, несмотря на холод, открытые – тоже выходили на канал, и во всех трех – изобретательная дань карнавалу! – присели на подставках дивные платья XVIII века: одно – классической венецианской выделки, бордо с золотом, все обшитое тяжелым витым шнуром; второе – пенно-голубое, сборчатое, облачное, обвитое лентами по плечам и талии, присыпанное серебряными блестками по кромке открытого лифа. Третье же – черное, траурное, отороченное белыми перьями, – оно и было самым завораживающим и стоило любой увертюры. А длинные накидки к платьям, искусно уложенные драпировщиками, в изнеможении спускались по ступеням до самой воды...

Присутствие жизни восемнадцатого столетия было столь ощутимым, что самыми несуразными и неуместными казались мы с нашими фотоаппаратами.

Зато на соседней площади процветал модный магазин-галерея, где дизайнерскую одежду представляли забавные манекены: вырезанные из фанеры и искусно раскрашенные венецианские дожи в чем мать родила. Вполне исторические лица, о чем свидетельствовали таблички: почтенные старцы Леонардо Лоредано, Франческо Донато, Себастьяно Веньер и Марк Антонио Тривизани стояли в коротких распахнутых туниках и в дамских туфлях на высоких каблуках. Их жилистые ноги и козлиные бородки в сочетании с женской грудью, вероятно, должны были что-то означать и символизировать – не саму ли идею карнавала, стирающего без следа приметы лица и пола?

* * *

– Нет, нет, – повторял Боря, продираясь сквозь вечернее столпотворение на пьяцце Сан-Марко, поминутно оглядываясь – поспеваю ли я за ним. – Нет, это профанация великой темы. И грандиозные деньги, вколотенные в туристический проект.

И в самом деле: умопомрачительное великолепие костюмов встречающих дам и кавалеров наводит на мысль о статистах, оплаченных муниципалитетом Венеции. Уж очень дорого обошлись бы такие костюмы обычным туристам, уж слишком охотно персонажи останавливают свой величавый ход и дают стайкам фотографов себя снимать. Они кланяются, садятся в глубоком книксене, трепещут веерами и элегантно отставляют трости, напоказ расправляют плечи и раскрывают медленные объятия...

Мы опоздали к открытию карнавала, к волнующему *Il volo dell'angelo* – «Полету ангела». Правда, в самолете по телевизору мелькнул этот, действительно потрясающий эпизод карнавала: прекрасная ангелица – *a la* лыжник с горной вершины – съезжала на металлическом тресе с высоты колокольни Сан-Марко, и летела, и летела к Палаццо Дукале, а за ней пламенеющим драконом стелился над площадью двенадцатиметровый плащ, сшитый в виде гигантского флага Венеции.

К нашему приезду карнавал уже созрел, как пунцовая гроздь винограда, настоялся на озорной и злой свободе, как хорошее вино, а главное, оброс многолюдными компаниями, что шляются весь день, от одной траттории к другой, или просто колобродят с полудня и до рассвета по улицам, набережным и мостам.

Часам к одиннадцати утра ты оказываешься в тесном окружении знакомых и незнакомых личин и персонажей, в коловращении масок, полумасок, плащей, накидок, пелерин... Круглощекие «вольто», лукавые «коты», клювоносые «доктора чумы», безликие домино, прекрасные венецианки, коломбины, арлекины, демоны и ангелы; наконец, самые распространенные: зловещие, с подбородками лопатой, с выразительным именем «ларва» – белые маски к черному костюму «баута»... и прочие традиционные персонажи карнавала вперемешку с изумительно сшитыми, действительно *штучными* изысканными нарядами.

Где-то я вычитала, что коренные венецианцы никогда не берут напрокат костюмы в лавках, предлагающих товар приезжим иностранцам. Они комбинируют, подправляют, перешивают старые костюмы персонажей комедии дель арте, что сохраняются в семьях из рода в род, несмотря на то, что современный карнавал возродился не так давно – годах в семидесятых прошлого столетия.

Словом, к полудню ты вовлечен в водоворот сорвавшихся с привязи туристов.

Ты утыкаешься в спины и животы, облаченные в камзолы и платья из шитых золотом парчи, атласа, бархата, гипюра и муара; извиняешься перед гобеленовой жилеткой, шарахаешься от мундиров всех армий и времен (с преобладанием почему-то формы наполеоновской гвардии); перед тобой мелькают пудренные парики, павлиньи перья, ожерелья и кружева, боа и манто, мех горноста, плоенные и гофрированные воротники, красные и синие кушаки...

А уж шляпы – это здесь особый вид низко летающих пернатых: залихватские треухи, широкополые многоэтажные пагоды с цветами и бантами, крошечные прищепки с вуалями и мушками, островерхие шляпы звездочетов, шутовские двурогие колпаки с бубенцами, а также тюрбаны, чалмы, треуголки, фески... И в этой тесноте надо беречь глаза и лбы от тюлевых зонтиков, золоченных тростей, перламутровых лорнетов, мушкетов, шпаг и кривых ятаганов...

Вокруг – кобальт и пурпур, мрачное золото и старое серебро венецианских тканей, леденцовый пересверк цветного стекла, трепет черных и белых вееров, невесомое колыханье желтых, лиловых, лазоревых и винно-красных перьев и опахал.

Если удастся скосить глаза вниз, видишь парад изящнейших туфель, высоких ботфортов, пряжек и шпор, но и кроссовок тоже, и банальных зимних ботинок и сапог – не у всех достает денег или вкуса для полной экипировки...



Венецианский дож на карнавале. 2011

На площадях, на центральных улицах расставлены складные столики с коробками и баночками грима; за небольшую плату тебя разукрасят так, что родная мама остолбенеет. За считанные минуты волен ты присоединиться к карнавальному большинству. Сначала и я подумывала, не изукраситься ли как-нибудь эдак, но увидев трех разухабистых пожилых дам с нарисованными флагами Италии на дряблых щеках, решила не рисковать.

– Нет, это в былые времена романтика карнавала чего-то стоила, – бубнил мой муж, натываясь на барабан, висящий у кого-то на поясе, и извиняясь перед чьей-то спиной. – Демоны Хаоса выходили из подполья... летели все тормоза, все сословные предрассудки. Вихри темной воли закруживали город. И тогда уж ни патриция, ни инквизитора, ни конюха, ни монаха... Ни жены, ни мужа, ни любимого... Воздух был пропитан запахом вендетты! Треуголка на голове, шпага и черный плащ наемного убийцы, безликая «ларва» на лицо – вот она, твоя личная

смертельная игра, твой образ небытия, твои призраки ночи в свете факелов... А это вокруг – что? Развлекуха для богатых иностранцев.

Стоит только покружиться часа полтора по пьянице Сан-Марко и окрестным улицам и площадям – и на тебя накатит особый род карнавального отупения, когда ничто уже не может остановить и задержать хоть на мгновение твой рыщущий взгляд: ни дама с золотой клеткой на голове, в которой две живые зеленые канарейки прыгают и распевают, заглушаемые барабанным боем и гомоном толпы; ни жонглеры на ходулях, ни живые скульптуры на каждом углу; ни ансамбль фламенко, пляшущий на отгороженном рюкзаками пятачке пьядетты...

Нет, вру: в память врезался мальчик лет двенадцати, худенький даун в черном костюме дворянина со шпагой, но без маски. Он стоял на ступенях какой-то церкви и пристально смотрел вниз на пеструю визжащую толпу. Его типичное для этого синдрома пухловатое сосредоточенное лицо являло поразительный контраст бурлящему вокруг веселью. Он крепко держал за руку маму, тоже одетую в карнавальный костюм, и уголки его губ изредка выдавали тайную улыбку: вот я тоже здесь, я тоже в костюме, я ждал и готовился, и я тут, на карнавале, как все вы...

По ступеням на паперть взбежала хохочущая Коломбина, с намерением повеселить друзей внизу то ли спичем, то ли еще каким-то вывертом, но наткнулась на отрешенный взгляд мальчика и спрыгнула вниз, снова ввинтившись в толпу.

Я тоже встретила с ним взглядом и замерла: черный ангел, вот кто это был. Черный ангел, посланец строгий, напоминающий: да, карнавал отменяет все ваши обязательства, все условности, все грехи... Веселитесь, братцы. Веселитесь еще, крепче веселитесь! Но я-то здесь, и я вижу, все вижу...

* * *

К концу первого дня перестаешь фотографировать каждого встречного в костюме. На второй день к ряженым привыкаешь так, что именно их начинаешь принимать за коренных венецианцев. Уж очень органичны все эти плюмажи, парики, трости и веера в арках и переходах, на мостиках и каменных кампо, на стремительных гондолах, которые всем своим обликом и самой своей идеей предназначены к перевозке *таких* пассажиров.

И тогда возникает странный перевертыш восприятия: как раз туристы в современной одежде, зрители и ценители карнавального действа, прибывшие сюда со всех концов света, производят диковатое впечатление посланцев чужой, технологически развитой планеты. Вот и движутся бок о бок по улицам и площадям самого странного на земле, прошитого мостками, простеганного каналами нереального города представители двух параллельных цивилизаций.

* * *

Нам повезло даже и в метеорологическом смысле: колючий зимний дождик покропил нас лишь в первое утро. Зато лохмотья тумана чуть не до полудня носились над лагуной, цепляясь за колокольни и купола, как безумные тени Паоло и Франчески.

Мы выходили из отеля еще затемно, когда карнавальная Венеция *уже* засыпала после буйной ночи. Февральский холод немедленно запускал ледяные щупальца за шиворот. Немилосердно стыли руки, глотки тумана оставляли на губах вязкий водорослевый привкус. В тишине спящего города, в рассветной мгле лагуны перекликались только гондольеры, торопящиеся выпить чашку кофе в ближайшем заведении:

– Микеле! Бонжорно, команданте! – голоса глохли в тихом плеске воды...

Безлюдье улиц и набережных на рассвете было само по себе удивительным – в этом городе в дни карнавала, – но в нем-то и заключалась притягательная странность наших прогулок по зыбкому краю ночи. Впрочем, редкие туманные тени то и дело возникали перед нами на мостах, подозрительно юркали в переулок, стыли в парадных и нишах домов.

Однажды из-под моста вынырнула крыса, бросилась в воду и переплыла канал...

В первое же утро (все – в сепии, все являет собой рассветный пепельный дагерротип: арка со ступенями к воде, смутный мостик вдали, черный проем дверей уже открытой церкви, вода цвета зеленой меди, взвесь острых капель на лице) – нас обогнал и проследовал дальше длинный и тонкий господин в норковой шубе до пят. Словно мангуста или еще какой хищный зверек вдруг поднялся на задние лапы, виляя нижней частью туловища, быстро взбежал на мостик и, прежде чем исчезнуть в рассветном сумраке, вдруг обернулся на миг – я схватила Бориса за руку, – в маске мангусты или хорька блеснули черные глазки.

Можно было лишь гадать о ночных похождениях данного хищника.

2

В какой момент мы стали придумывать сюжет для тех двоих – для пары с нашего катера? Когда встретили их в галерее Академии? Да нет, в ту минуту мы лишь переглянулись – надо же, какие бывают невероятные совпадения: в третий раз столкнуться в городе – допустим, это маленькая Венеция, допустим даже – карнавал, то есть бесконечное кружение по одним и тем же улицам, неизбежные пересечения в густом вареве многолюдья... И все же.

В Академию мы попали после утреннего похода на воскресный рыбный рынок. Но еще раньше, выйдя из отеля и понимая, что буквально через час-другой пестрая толпа вывалит на улицы, решили обойти несколько площадей в районе Дорсодуро и Сан-Поло. Мы охотились за окнами исконно византийского кроя и радовались, когда удавалось обнаружить на фасаде какого-нибудь палаццо не замеченную прежде разновидность этого стиля – с навершиями, точно ладони, со сложенными легонько пальцами в характерном жесте индуистского танца, или дружную чету высоких узких окон, похожих на островерхие шапки кочевников.

Тогда Борис выхватывал фотоаппарат и принимался искать нужную точку обзора – отбежал, приближался, закидывая голову, делал помногу снимков.

И вновь сожалел, что среди романтического размаха этой невероятной архитектуры уже не встретишь роковых игрищ средневековых страстей. Полет плюс три ночи в отеле, повторял он, саркастически улыбаясь, – жалкая участь туриста! Даже не знаю, на что ты собираешься нанизать всю эту красоту, говорил; мне-то что – я живопись в каждой подворотне найду. А вот ты? Где сюжет? Сюжет где?! И высоким трагедийным голосом в десятый раз за эти дни читал Вяземского:

Экипажи – точно гробы,
Кучера – одни гребцы.
Рядом – грязные трущобы
И роскошные дворцы.
Нищеты, великолепия
Изумительная смесь;
Злато, мрамор и отрепья:
Падшей славы скорбь и спесь!

Я огрызалась: не трави, мол, душу. Однако в чем-то он был прав: такие фасады взывали к страстям и драмам отнюдь не туристической температуры.

Между тем в нашей «венецианской котомке» уже было изрядно собрано окон: угловых балконных, трехчастных палладианских, готических, ренессансных, с полуциркульными арками и с арками в форме взметнувшегося пламени; с витыми миниатюрными колонками, разделяющими полукруглых близнецов. Были окна, что стояли в низкой ограде балкончика, точно стакан в подстаканнике. Встречались и парадные, со звонкими витражами в свинцовых переплетах, и таинственные – со стеклами в дутых кругляшах, словно заводи с икринками...

Когда раздвигались складчатые кулисы их ставен – зеленых, темно-голубых или карминных, – казалось, что вот-вот начнется действие. Любому персонажу в окне, любой случайно возникшей там фигуре это придавало восхитительную театральную загадочность.

Во время одной из прогулок мы видели, как в темно-красных кулисах на третьем этаже небольшого палаццо возник молодой человек. Он быстро и раздраженно что-то говорил по телефону, протягивая руку с сигаретой в окно, словно обращался к публике внизу, на площади.

Это был весьма пылкий монолог, изумительно оркестрованный интонационно: голос то взлетал в вопросительном броске, то скандировал слова в патетическом утверждении, то бессильно соскальзывал в стонущей просьбе вниз...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.